

С. С. Алымов, Д. В. Арзютов

**МАРКСИСТСКАЯ ЭТНОГРАФИЯ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ:
СОВЕЩАНИЕ ЭТНОГРАФОВ
МОСКВЫ И ЛЕНИНГРАДА И ДИСКУССИИ
В СОВЕТСКИХ СОЦИАЛЬНЫХ НАУКАХ
В 1920–1930-е ГОДЫ**

Введение

Совещание этнографов Москвы и Ленинграда, состоявшееся 5–11 апреля 1929 г., равно как и весь процесс «советизации» или «марксизации» этнографии, в историографии последних десятилетий имеет печальную известность. Юрий Слезкин связал с его проведением начало революции в этнографии, посредством которой «молодые этнографы-большевики» стремились «низложить своих буржуазных руководителей и разгромить негостеприимный академический мир» [Слезкин 1993: 116]. По мнению Т. Д. Соловей, совещание было не столько началом этой революции, сколько поворотным моментом дискуссии о предмете и методе этнографии, втиснувшем их в «прокрустово ложе вульгаризированного марксизма» и лишившим отечественную науку присущего ей ранее теоретического плюрализма [Соловей 2001]. Вписывая события «на этнографическом фронте» в контекст «великого перелома» и культурной революции рубежа 1920–1930-х годов, историография первого постсоветского десятилетия делала упор на прагматический аспект данных событий. Основным их содержанием виделось противостояние молодых марксистов и «буржуазных профессоров», а дискуссии представлялись главным образом средством решения карьерных задач первых, казавшихся сплоченной группой единомышленников. Такой взгляд был, помимо прочего, реакцией на официальную советскую историографию, считавшую дискуссии рубежа 1920–1930-х годов процессом «историзации» этнографии и овладения марксистским методом, который осуществлялся хотя и не без эксцессов (имелись в виду призывы В. Б. Аптекаря к «отмене» данной науки), но достаточно слаженно и гармонично [Токарев 1971; Толстов 1957].

Перелом 1920–1930-х в развитии отечественной этнографии продолжал привлекать внимание историографов и в 2000-е годы, однако по мере более широкого знакомства с архивными источниками стали звучать интерпретации, позволяющие уйти от жестких дихотомий. Так, Фредрик Бертран [Bertrand 2002: 60–61] указал на наличие различных исследовательских практик и проектов, помещавшихся под легитимирующей «шапкой» марксистской науки. Фрэнсин Хирш в своем исследовании «нациестроительства», осуществлявшегося советской властью с помощью этнографов, пришла к выводу о том, что на рубеже 1920–1930-х годов этнография подверглась советизации, но сохранила свою роль в государственной политике, а между поколениями этнографов существовала не только идеологическая вражда, но и идейная преемственность [Hirsch 2005: 215–216]. Выявить эту сложную констелляцию идеологических, теоретических, поколенческих и прочих связей и противоречий позволяет обращение к такому поистине уникальному источнику, как стенограмма совещания этнографов Москвы и Ленинграда 5–11 апреля 1929 г.

Рубеж 1920–1930-х годов действительно был поворотным в истории всей советской науки. В этот период формируется сама Академия наук как строго иерархическое образование, охватывающее все отрасли знания и управляющее ими на территории огромной страны, что впоследствии дало основание одному из историков советской науки говорить о ней как об «империи знания» [Vucinich 1994]. В это же время проходит череда научных совещаний по всем отраслям знания, где дискутируются наиболее острые вопросы каждой из наук (см. обзор: [Грэхэм 1991]). Эти совещания и дискуссии стали своеобразным жанром советской науки. В сталинское время они были способом как установления консенсуса внутри дисциплин, так и встраивания их в постоянно меняющийся политико-идеологический ландшафт [Кожевников 1997; Pollock 2006].

Настоящая книга посвящена семи дням из жизни советской этнографии, в течение которых группа этнографов Москвы и Ленинграда собралась в Ленинграде, в зале заседаний Государственной академии истории материальной культуры и Мраморном дворце, чтобы решить, какой быть этнографии.

Для того чтобы понять, какую роль сыграло совещание, мы постараемся реконструировать его контекст, описать его ход и показать последствия как для советской этнографии, так и для национальной политики в СССР. Наш подход отличается несколькими установками, при помощи которых мы надеемся внести вклад в довольно солидную по объему литературу вопроса. Во-первых, мы рассматриваем рубеж 1920–1930-х годов не только как эпоху идеологического разгрома и насильственной унификации, но и как переходный период, положивший начало новому этапу развития науки, который — как к нему ни относиться — содержал не только конформизм



Рис. 1. Участники совещания этнографов Москвы и Ленинграда.

1929 г. Ленинград, Мраморный дворец [АМАЭ РАН. Ф. К-IV. Ед. хр. 29].

Сидят слева направо: 1) П. Ф. Преображенский, <...> 5) А. Г. Данилин <...>.

Стоят слева направо: <...> 2) Г. Н. Прокофьев, <...> 5) В. Б. Аптекарь, <...>

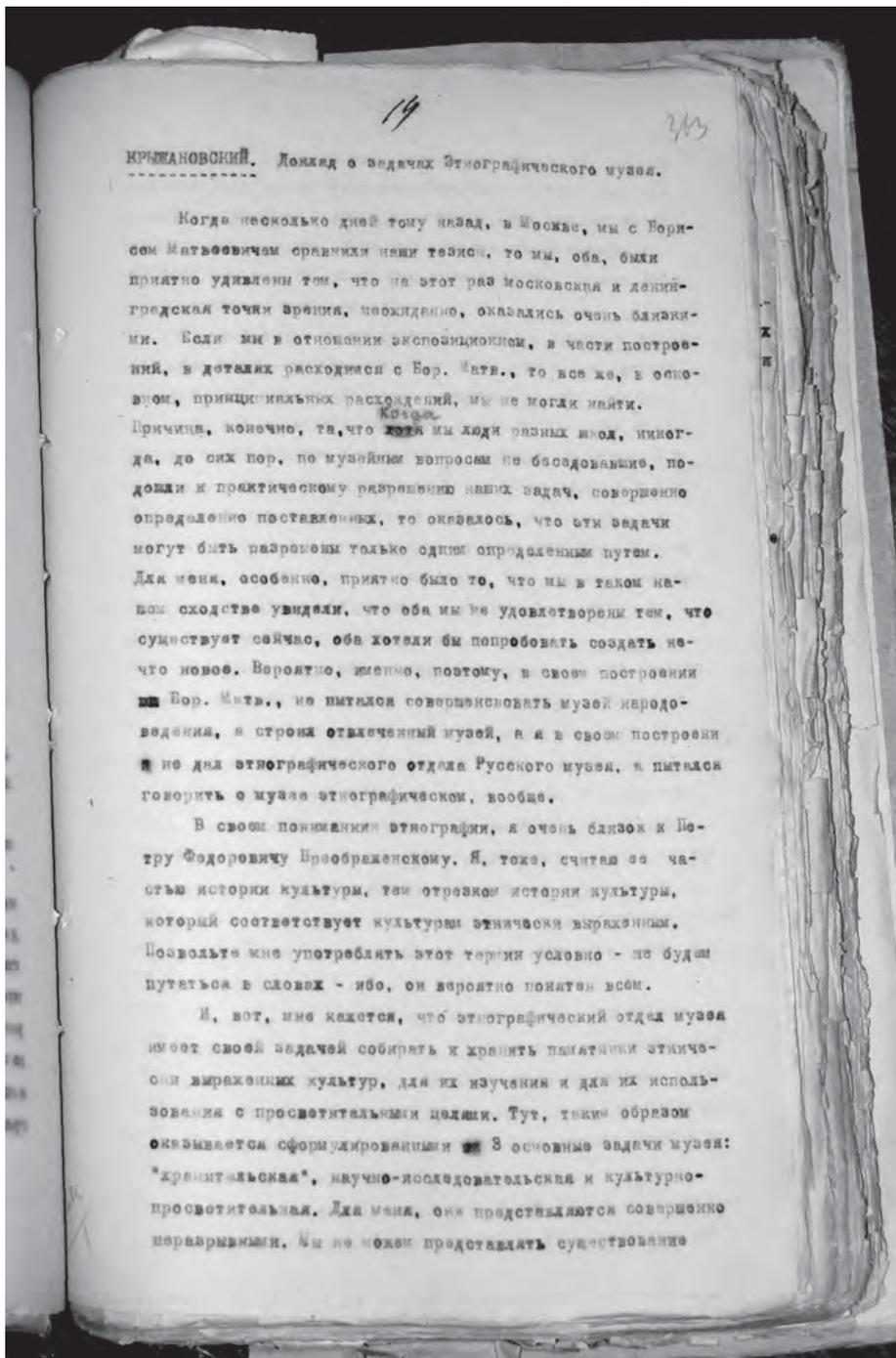
15) В. Ершов, <...> 17) Г. А. Старцев, <...> 24) Н. П. Дыренкова

и отжившие догмы, но и подлинные искания и прозрения. Во-вторых, мы попытались уйти от несколько навязчивого противопоставления поколений и указать на различия и сходства в этнографическом цеху, отнюдь не всегда совпадавшие с поколенческим разломом. В-третьих, мы обращаем внимание на разные варианты марксизма, предлагавшиеся как маститыми, так и молодыми исследователями, подчеркивая, что на совещании 1929 г. (и позднее) единства взглядов по ключевым вопросам не было достигнуто. В-четвертых, мы постарались выявить важность представлений ученых того времени об «историзации» и «марксизации» этнографии и их связь с идеологией советской национальной политики, а также практически единодушное стремление этнографов участвовать в осуществлении этой политики. Наконец, сделана попытка сравнить теоретические и идеологические изменения в советской этнографии, произошедшие на фоне осуществления советской национальной политики, отличавшейся поддержкой нерусских национальностей и антиколониальной риторикой, с изменениями в западной антропологии, имевшими место в ходе деколонизации третьего мира после Второй мировой войны.

1. Документ и метод

Стенограммы научных совещаний сталинского периода заслуживают отдельного внимания. Судя по пометам на отдельных страницах публикуемой стенограммы, можно сказать, что в ее исполнении участвовали несколько стенографистов (как правило, женщины), которые старались очень подробно фиксировать каждое высказывание выступавших, комментарии, вопросы и даже выкрики из зала. Детальность фиксации была столь высокой, что читатель сможет без труда буквально «услышать» голоса и интонацию выступавших, что позволяет глубже осознать сам ход и драматургию совещания. Многие выступления впоследствии правились, по всей видимости, самими ораторами, что видно из рукописных пометок, зачеркиваний и исправлений, сделанных поверх машинописи. Эти пометки зачастую значительно проясняют смысл соответствующих фрагментов, и при публикации мы, как правило, «принимали» исправления, не оговаривая это в сносках. Такая публикаторская вольность может быть оправдана тем соображением, что, в отличие от документов личного происхождения, непосредственными «авторами», из-под пера которых выходил текст стенограммы, были стенографистки, не являвшиеся, конечно, специалистами в этнографии и допускавшими значительное количество разного рода ошибок. Воспринимая на слух достаточно сложную специальную информацию, они зачастую были не в состоянии адекватно передать научные термины, дать правильные написания фамилий отечественных и зарубежных ученых и т.д. С этим связано и заметное количество отточий и пропусков, только часть из которых нам удалось «заполнить». Орфография и пунктуация публикации приведены в соответствие с современными нормами русского языка. Заполненные публикаторами пропуски, а также фрагменты, оставшиеся нерасшифрованными, соответствующим образом оговорены в тексте.

Процедура письменной фиксации речи, которую можно условно назвать бюрократической, и ее роль в формировании советской науки заслуживают отдельного внимания. Стенограммы документировали высказывания ученых, превращая их в текст, который всегда можно было иметь под рукой для анализа и критики. Из документов дискуссий рубежа 1940–1950-х годов известно, что протоколы совещаний такого рода перевозились из Ленинграда в Москву и тщательно штудировались коллегами-оппонентами, а также, конечно, использовались для написания отчетов в прессе [Алымов 2009: 16]. Протоколирование конституировало саму процедуру совещаний, их академическую важность и ответственность суждений. Как пишет антрополог Мэтью Халл, «документы являются не просто инструментами бюрократической организации, но они сами конституируют бюрократические правила, идеологии, знание, практики, субъективности, объекты, выводы, а порой и сами организации»



19 303
 КРЫЖАНОВСКИЙ. Доклад о задачах Этнографического музея.

Когда несколько дней тому назад, в Москве, мы с Борисом Матвеевичем сравнили наши тезисы, то мы, оба, были приятно удивлены тем, что на этот раз московский и ленинградская точки зрения, неожиданно, оказались очень близкими. Если мы в отношении экспозиционного, в части построения, в деталях расходились с Бор. Мать., то все же, в основном, принципиальных расхождений, мы не могли найти. Причиной, конечно, та, что ^{когда} ~~хотя~~ мы люди разных школ, никогда, до сих пор, по музейным вопросам не беседовавшие, подошли к практическому разрешению наших задач, совершенно определенно поставленных, то оказалось, что эти задачи могут быть разрешены только одним определенным путем. Для меня, особенно, приятно было то, что мы в таком на-шем сходстве увидели, что оба мы бы удовлетворены тем, что существует сейчас, оба хотели бы попробовать создать нечто новое. Вероятно, именно, поэтому, в своем построении ~~на~~ Бор. Мать., не пытался совершенствовать музей народо-ведения, а строил отвлеченный музей, а в своем построении ~~я~~ не дал этнографического отдела Русского музея, а пытался говорить о музее этнографическом, вообще.

В своем понимании этнографии, я очень близок к Петру Федоровичу Преображенскому. Я, тоже, считал ее частью истории культуры, тем отрезком истории культуры, который соответствует культурам этнически выраженным. Позвольте мне употреблять этот термин условно - не буди путаться в словах - ибо, он вероятно понятен всем.

И, вот, мне кажется, что этнографический отдел музея имеет своей задачей собирать и хранить памятники этнически выраженных культур, для их изучения и для их использования с просветительскими целями. Тут, таким образом, оказывается сформулированными ~~на~~ 3 основные задачи музея: "хранительская", научно-исследовательская и культурно-просветительская. Для меня, они представляются совершенно неравными, ~~ли~~ не можем представлять существование

Рис. 2. Образец листа стенограммы [АМАЭ РАН. Ф. К-1. Оп. 3. Ед. хр. 7. Л. 363]

[Hull 2012: 253]. Интересно, однако, что после издания нескольких отчетов к машинописному тому стенограммы не обращались вплоть до историков советской этнографии постсоветского времени, что можно было заметить по листку читателей, прилагаемому к каждому архивному делу. В определенном смысле можно сказать, что стенограммы совещания 1929 г. долгое время были «забыты», став «вытесненной» частью истории дисциплины. Ее переосмыслению в 1990-е годы сопутствовали повышенный интерес к феномену репрессированной науки и скепсис по отношению к науке официальной. В данном контексте совещание, ассоциировавшееся с наступлением «единственно верного учения», также воспринималось, как правило, негативно, а наиболее внимательным читателем его стенограммы стал французский исследователь Ф. Бертран [Bertrand 2002; Бертран 2007]. По нашему мнению, пришла пора не столько «реабилитировать» данное событие в истории отечественной этнографии, сколько вслушаться в полифонию звучащих на нем голосов и оценить высокий уровень рефлексии и в то же время сумятицу теорий, понятийный хаос, зачастую присущие науке того периода.

Для того чтобы разобраться в этой полифонии, мы возьмем за основу следующий набор методических приемов. Прежде всего на основании корпуса документов из архивов Москве и Санкт-Петербурге мы реконструируем предысторию и контекст совещания. Это дискуссии в Коммунистической академии и Обществе историков-марксистов, которые предшествовали совещанию 1929 г. Для этого мы постараемся выявить набор тем, характер проводимых дискуссий, а также влияние этих заседаний на формирование дисциплины.

Судя по резолюции совещания 1929 г., опубликованной Я. П. Кошкиным и Н. М. Маториным, в работе совещания приняло участие более 86 делегатов от учреждений Москвы и Ленинграда и 60 гостей, что фактически охватывало этнографическое сообщество двух столиц. Чтобы разобраться в драматургии совещания, мы использовали просопографический метод, предложенный историками науки Сёдерквистом и Сильверстейном [Söderqvist, Silverstein 1994], которые его апробировали на примере научных собраний иммунологов. Связь между биографией оратора, его социальным статусом и теоретическими предпочтениями показывают как многообразие групп внутри совещания, так и социальный смысл в отстаивании своей позиции. К счастью, имеется обширная литература, посвященная биографиям советских этнографов [Решетов 2012; Тумаркин 1999, 2003; Тишков, Тумаркин 2004], опираясь на которую мы дали ссылки на большинство имен, упоминаемых в стенограмме.

Особого внимания заслуживает язык выступавших. Мы сделали несколько диаграмм, которые иллюстрируют частотность употребления

некоторых ключевых, с нашей точки зрения, понятий и терминов. (В будущем предполагается провести полноценный анализ на примере нескольких совещаний, тем самым показать динамику языка этнографии во времени¹.)

Комбинация этих методов открывает перспективу анализа формирования на совещании не только профессиональной элиты [Söderqvist, Silverstein 1994: 520], но и стратегий союзничества и войны с «невидимыми коллегами» (по выражению социолога науки Роберта Мёртона) в лице Маркса, Энгельса, Моргана, Шмидта, Штернберга и др. Все эти непростые переплетения мы постараемся показать в настоящей статье.

2. Первые дискуссии, подготовка и контекст совещания

2.1. Первая академическая пятилетка

1928–1932 гг. — эпоха первого пятилетнего плана (пятилетки), когда, по сути, создается сталинская модель науки. Главной целью научной политики Советского государства в этот период было создание условий, при которых наука была бы наиболее эффективно поставлена «на службу социалистического строительства» как в технической сфере, бывшей несомненным приоритетом, так и в гуманитарной, основная роль которой сводилась к содействию культурной революции. С одной стороны, число научно-исследовательских институтов и их финансирование значительно увеличиваются, растет и престиж науки. С другой — политика «кооптирования» поддержки ученых, практикуемая в 1920-е годы, заменяется централизованной системой партийно-государственного управления и контроля. Уже в 1929 г. в Академии наук проводятся первые «чистки», впоследствии затронувшие и этнографов [Krementsov 1997: 31–53]. Принятый в 1930 г. Устав Академии наук СССР в качестве ее основных задач постулировал содействие «выработке единого научного метода на основе материалистического мировоззрения» и направление всей системы научного знания «к удовлетворению нужд социалистической реконструкции страны» [Отчет 1931: II].

«Единый научный метод», прописанный в уставе, имел, конечно, другое имя — марксизм. На протяжении первого десятилетия своего правления большевики создали интеллектуальные центры, которые были призваны развивать марксизм как партийную науку. Главной среди них была основанная в 1918 г. Коммунистическая академия. На протяжении 1920-х годов новая (в Москве) и старая (в Ленинграде) академии соблюдали своего рода негласное «разделение труда»: первая занималась преимущественно социальными, экономическими и философско-идеологическими вопро-

¹ Этому будет посвящена отдельная статья Д. В. Арзютова о языке советских этнографов, основанная на анализе стенограмм довоенных совещаний (1929–1940) (по: [Ahearn 2013]).

сами, связанными с современностью, вторая все больше специализировалась на точных и естественных науках, а в гуманитарной сфере — на областях, лишенных политической актуальности.

Американский историк М. Дэвид-Фокс назвал начавшуюся в 1929 г. «большевизацию» Академии наук «принудительным слиянием» двух академий, в ходе которого избранные академиками представители интеллектуальной элиты большевиков (Н. И. Бухарин, А. М. Деборин, А. В. Луначарский, М. Н. Покровский и др.) парадоксальным образом сохранили «старую» академию, хотя и в заметно измененном виде [David-Fox 1998]. Тот же историк отметил произошедшую в середине 1920-х смену поколений в Комакадемии, в результате которой в нее пришли полторы сотни молодых людей, принесших с собой агрессивную большевистскую культуру полемики и выступивших к концу десятилетия на фронте научно-идеологической борьбы [Ibid.: 240]. Именно из этой среды вышел “enfant terrible” советской этнографии В. Б. Аптекарь, находившийся в 1929 г. в зените своей скандальной славы и сыгравший на совещании свою главную «роль».

В то же время марксизм, к которому постоянно возвращались участники совещания, не представлял в тот момент некой единой модели знания. Существовали разные варианты марксизма, и, как отмечает Александр Дмитриев, шел диалог между марксизмом как идеологией, как предметом преподавания и как набором идей для дискуссий [Дмитриев 2007]. В нашем контексте представляется важным упомянуть спор между так называемыми «диалектиками» (группой философов, сформировавшейся вокруг А. М. Деборина, к которой, как видно из стенограммы [Стенограмма: л. 223¹], относил себя Аптекарь) и «механицистами» (помимо И. И. Скворцова-Степанова, А. К. Тимирязева и др., к ним были близки Н. И. Бухарин и А. А. Богданов), разворачивавшийся во второй половине 1920-х годов. Дискуссия касалась соотношения философии (под которой, естественно, понимался диалектический материализм) и науки. Механицисты утверждали, что наука (под которой они понимали, прежде всего, естественные науки) сама по себе способна дать адекватное описание реальности, а роль философии сводится к обобщению полученных ею выводов. Соответственно, они были склонны к редукционизму, объясняющему все феномены, в том числе социальные и психологические, с точки зрения неких «естественно-научных законов». А. М. Деборин и его ученики выступали против такого редукционизма, утверждая, что каждая «форма движения материи» имеет собственные законы и что только марксистская философия может

¹ Здесь и далее указываются архивные листы стенограммы [АМАЭ РАН. Ф. К-1. Оп. 3. Ед. хр. 7], они также обозначены в тексте стенограммы, опубликованном в настоящей книге (часть II).

выступать в роли арбитра, диктующего наукам основные законы диалектики. К 1929 г. победу одержали «диалектики-деборинцы», что решило судьбу вопроса о первенстве во взаимоотношениях науки и марксистской философии в пользу второй [Bakhurst 1991: 28–47]. В контексте этнографии данные споры найдут отражение как в роли Аптекаря, так и в обвинениях в «биологизаторстве», звучавших в адрес В. Г. Богораза, который в свою очередь скорее ориентировался на представление об этнографии, подразумевавшее постоянное сотрудничество с естественно-научными дисциплинами. Симптоматично, что председательствовавший на совещании 1929 г. М. Н. Лядов симпатизировал механицистам и, будучи ректором Коммунистического университета им. Свердлова, прославился в 1924 г. призывом исключить философию из университетской программы [Евграфов и др. 1985: 221]. В то же время философ И. К. Луппол, представлявший государство на Первом археолого-этнографическом съезде в 1932 г., был одним из видных «диалектиков».

2.2. Марксизм, яфетическая теория и этнография

Одной из предпосылок дискуссии о марксизме в этнографии были реформы высшей школы, произошедшие вскоре после Октябрьской революции. Историко-филологические факультеты университетов были преобразованы в факультеты общественных наук. Среди новых курсов, вводимых в университетах, была «История развития общественных форм», ставшая обязательным предметом с 1924 г. Под общественными формами в данном курсе понимались формы экономики, семьи, политической организации и т.п., рассматривавшиеся в развитии в ходе смены формаций или «социологических эпох». Наиболее распространенный учебник тех лет — «Очерк развития общественных форм» П. И. Кушнера-Кнышева — рассматривал четыре из них: первобытную, родовую, феодальную и общество «торгового капитала». Таким образом, этнографический материал включался в данный социологизированный вариант всеобщей истории, главными методологическими предпосылками которого были формационный подход, идея однолинейной эволюции и поиска закономерностей в развитии человеческого общества [Алымов 2006: 61–73]. Курс с одноименным названием (но отличный по содержанию) читал в Московском университете П. Ф. Преображенский, руководивший во второй половине 1920-х годов подготовкой московских этнографов (в 1929 г. этот курс был издан под названием «Основы этнологии» и переиздается сегодня).

Студенты Преображенского интересовались марксизмом. К примеру, октябрём–ноябрём 1925 г. датирован сохранившийся в архиве ИЭА РАН доклад С. А. Токарева «Тотемическое общество. Опыт применения марксистского метода к решению некоторых вопросов этнологии» [АИЭА

РАН. Ф. 8¹]. Это был своеобразный эксперимент автора, связанный с увлечением реконструкцией первобытной истории на основании данных этнографии. Опираясь на работы Ленина, Токарев писал, что «каждое общественное явление (определенная форма религии, семьи и т.п.) не может изучаться само по себе, абстрактно, вне социальной обстановки, в какой оно возникло и существует, а должно изучаться именно в связи с последней, конкретно, учитывая все влияния и взаимодействия, и в особенности — влияния условий “производства материальной жизни”, учитывая “все связи и опосредствования”» [Ленин, т. 17: 60] [л. 3]. Этот ученический доклад, конечно, не сыграл особой роли в истории марксизации дисциплины, однако свидетельствовал о влиянии курсов по истории развития общественных форм и марксистских подходов на студентов, позже ставших корифеями советской этнографии (о «раннем» Токареве см.: [Анчабадзе 2010]).

Собственно же историю дискуссии о марксизме и этнографии можно начать с доклада В. Б. Аптекаря «Яфетическая теория Марра и исторический материализм», представленного 1 апреля 1927 г. в Обществе историков-марксистов в Москве. Это общество было создано при Комакадемии в 1925 г. «в целях сплочения марксистских кадров для проведения исследовательской работы в области истории и методологии исторического процесса, для борьбы с буржуазной идеологией и популяризации исторических знаний» [Советская историческая энциклопедия 1967: 411]. Как видно из названия, доклад был посвящен своеобразному «скрещению» яфетической теории и марксизма — задаче, к которой сам Марр шел «интуитивно» и выполнение которой специалист по историческому материализму Аптекарь взял на себя. Он широкими мазками описал деятельность «купцов, миссионеров, ученых и солдат», в результате которой рождались западноевропейская и российская лингвистика и другие науки о неевропейском мире, куда «вначале пришли “бескорыстные” ученые, занимавшиеся всякими теоретическими изысканиями, а потом генерал, сверкая очами, уже вел чугунный или медный ряд пушек» [РАН. Ф. 377. Оп. 2. Ед. хр. 110. Л. 8]. Колониальная наука породила расизм и индоевропейскую теорию, неразрывно связанные как для Аптекаря, так и для многих других советских ученых того периода. «Раса, — утверждал докладчик, — является элементом, неотъемлемым от индоевропейского мировоззрения» [Там же: л. 63]. Из этого положения следовало его радикальное неприятие этнологии и антропологии как наук колониальных, буржуазных и расистских. «Народ, у народа своя психология, потому что он особая раса. Есть сходство, есть расы с одним цветом волос, и все то, что собрала и разработала антропология, — отсюда имеется расовая установка. Ни о какой настоящей социологии там речи не было — социология была заменена ее суррогатом,

¹ Вплоть до сегодняшнего дня фонд С. А. Токарева в архиве ИЭА РАН не разобран.

чисто буржуазно-феодальными воззрениями — именно этнологизмом» [Там же: л. 32], — так характеризовал он взгляды самого Н. Я. Марра до «нового учения о языке». Из участников совещания 1929 г. на докладе Аптекаря присутствовал В. К. Никольский, высказавший резкое несогласие со «странным» отношением Аптекаря к этнологии: «Мы теперь от расы совершенно освободились. Ведь раса теперь — понятие физиологической и соматической антропологии <...> уже у Ратцеля мы имеем совершенно определенную замену понятия расы понятием этноса, народности. А народ и раса отнюдь не равны. И посему я совершенно должен отклонить от себя упреки в том, что этнология современная до сих пор продолжает стоять на какой-то базе смешения рас с выделением рас породистых и непородистых, высших и низших. <...> Дело в том, что новейшая этнология носит, несомненно, исторический характер, и в этом отношении она приблизилась и к диалектике, и ко всем тем требованиям с точки зрения марксизма, которые вы предъявляете в области лингвистики. Но, как всякая наука, и этнология растет и развивается, и эта новейшая этнология не враждебна ни социологии, ни марксизму, ни всему успешному развитию всех отраслей, изучающих человеческое общество и культуру. Вот, мне кажется, в этом основная принципиальная ваша ошибка, которая заставила вас внести такую, мне кажется, совершенно неправильную оценку взаимоотношений лингвистики и этнологии» [Там же: л. 78–79].

Переубедить Аптекаря, как показал доклад 1927 г. и все последующие дебаты, было невозможно. В своем заключительном слове он отверг все возражения как лингвистов, так и Никольского и заявил, что если снять «новое название» — народность или этнос, то существо останется старым: некая «неделимая, первичная и одновременно не общественная, а взятая в разрезе естественно-научном» субстанция [Там же: л. 105].

Следующая дискуссия такого рода состоялась в Коммунистической академии 7 мая 1928 г. На этот раз Аптекарь полностью сконцентрировался на критике этнологии, которую он отождествлял с диффузионистскими теориями: «В основе всех течений этнологии, нередко противоречивых и взаимно исключающих друг друга, лежат два понятия — “культура” и “этнос”, которые рассматриваются как некие от- и надприродные сущности, что является прямым результатом игнорирования их историчности и метафизического гипостазирования или биологизирования» [АРАН. Ф. 350. Оп. 2. Ед. хр. 233. Л. 3]. Культура, указывал Аптекарь, «наделается таинственными имманентными силами развития, которые делают ее независимой по отношению к людям», а этнос-народность либо идентифицируется с расой, либо с некой духовной сущностью, идеалистически определяющей судьбу народов. В результате, «разбивая все человечество и созданную им культуру на целый ряд этносов-культур, этнологи то приписывают им вечные качества непроницаемости и постоянства, что ведет

при соприкосновении их к смерти — уничтожению слабейших из них (оправдание империалистической колониальной политики), то наделяют их биологическо-химико-физическими свойствами (диффузии, осмос, скрещивания–совокупления, мутации и т.д.), рассматривая процесс общественного развития (подмененный процессом культурного развития) как аналогичный явлениям неорганической и органической природы» [Там же].

Обсуждение доклада было бурным. Аудитория, состоявшая в значительной степени из студентов и молодых преподавателей этнологического факультета 1-го МГУ, была настроена по отношению к докладчику достаточно скептически и обвиняла его как в незнании современных этнологических теорий, так и в отсутствии конструктивных предложений — своего рода ахиллесова пята позиции Аптекаря, создавшая ему славу анархиста и «человека с дубиной». В то же время с критической частью многие были согласны. С. А. Токарев согласился с тем, что этнология, будучи на практике вполне ясно очерченной областью знания, не имеет логически очерченного объекта исследования и метода: «Одно направление пользуется биологическим методом, другое — каким-нибудь физическим, третье — геометрическим и т.д. Действительно, до метода социологического, который может быть дан марксизмом, в сущности, ни одно направление еще не дошло» [Там же: л. 31]. Тем не менее марксистская этнология, по мнению Токарева, вполне имеет право на существование, и ее следует создавать. Таким образом, хотя «предпосылки тов. Аптекаря правильны, практические выводы из них являются неправильными» [Там же: л. 35]. П. И. Кушнер указал на необходимость науки об «отсталых народностях», и не столь важно, будет она называться этнологией, этнографией или социологией [Там же: л. 36–38]. Затем Маркелов, Никольский, Гуковский и студенты МГУ продолжили отстаивать право на существование марксистской этнографии, требовать от Аптекаря конструктивных предложений относительно ее создания и указывать на некорректное изложение им современного состояния этнологической теории. Студенты сравнивали тезисы Аптекаря с пролеткультовскими призывами начала 1920-х годов отказаться от всего буржуазного по принципу «паровозы нам не нужны, потому что они — наследие буржуазного строя» и указывали на отрицательное отношение Ленина к таким призывам [Там же: л. 79–82]. В целом, однако, большинство согласилось с тем, что этнография как наука должна быть описательной и подчинена социологии. Наконец, Никольский привел авторитет Моргана и Энгельса в защиту этнологии, и заключительное выступление Аптекаря вылилось в схоластический спор о том, был Морган этнологом или социологом. В качестве «положительной программы» он лишь указал на то, что теория исторического материализма, «базиса и надстройки» уже давно существует, а «конкретно-социологическое» описание какого-нибудь народа «ничего общего не будет иметь с его этнографическим описанием»

[Там же: л. 102]. Таким образом, можно заключить, что обсуждение 1928 г. в значительной степени было аналогично публикуемым ниже откликам на доклад Аптекаря на совещании 1929 г.

Последним известным нам выступлением Аптекаря накануне совещания был его доклад «Марксизм и этногеография» на состоявшейся в Комакадемии 28 декабря 1928 г. — 4 января 1929 г. Первой всесоюзной конференции историков-марксистов. Именно на этой конференции лидер марксистских историков и заместитель наркома просвещения М. Н. Покровский поддержал «группу молодых этнологов-марксистов» и призвал «более зрелых» марксистов-историков помочь первым «вывести их специальность на прямую дорогу исторического материализма» [Покровский 1930: XIV]. Главным объектом критики Аптекаря стала книга В. Г. Богораза «Распространение культуры на Земле» [1928], в которой тот выступил в качестве теоретика «этногеографии». Эта работа, упоминавшаяся и в предыдущей дискуссии, была как будто специально создана для подтверждения всех претензий Аптекаря к этнологии. Богораз постулировал свою науку о культуре как «смычку» общественных и естественных наук. Его методологию Аптекарь возводил к таким авторам, как Риттер, Бастиан, Фробениус и Шпенглер, а попытки Богораза использовать «диалектическую» фразеологию подвергал грубому осмеянию, равно как его рассуждения о «социальной геометрии» культурных кругов, линий, эллипсов и т.п. и многочисленные биологические аналогии. «Таким образом, материалистической диалектике общественного развития этногеография противопоставляет свое биомеханическое, эволюционно-мутационное понимание — эклектическую смесь идеалистических и вульгарно-материалистических воззрений» [Труды Первой... 1930: 328–329].

Главным оппонентом докладчика выступил С. Толстов. Он высказался против отождествления Аптекарём этнологии с отдельными теориями и противопоставления ее истории. Этнология, по Толстову, — «одна из исторических дисциплин, объединяемых методологией исторического материализма» [Там же: 331]. Марксистская этнология, изучающая «культурные комплексы» и их распространение, вполне возможна при правильном понимании соотношения культуры и общества. Если «переставить книгу проф. Богораза с головы на ноги», из нее можно извлечь много полезного, равно как из всей этнологической литературы, которую так ценили Энгельс и Плеханов [Там же: 332–333]. Заключительно слово, однако, осталось за Аптекарём, воспользовавшимся авторитетом того же Энгельса, хвалившего Моргана за «социологический подход», и Маркса, сказавшего «мы знаем только одну науку — историю». Возможно, именно в этом заключительном слове впервые прозвучала характеристика этнологии как «суррогата буржуазного обществоведения», которую в дальнейшем он только повторял [Там же: 340].

Подводя итоги предшествовавшим дискуссиям и связывая их с ситуацией, сложившейся на самом совещании 1929 г., можно сделать некоторые предварительные выводы. Во-первых, все вышеописанные дебаты шли в Москве главным образом в Комакадемии и на этнологическом факультете МГУ. Таким образом, совещание стало первым крупным событием, на котором ленинградцы столкнулись со спорами, имевшими место в столице. С одной стороны, ленинградцы, вслед за сторонниками марксистской этнографии из Москвы, возмущались попытками «упразднить» этнологию/этнографию и обвиняли Аптекаря в схоластике, непрофессионализме и т.д. С другой — после докладов П. Ф. Преображенского и В. Б. Аптекаря на совещании были продолжены «московские» споры о соотношении истории, социологии и этнологии, культуры и общества и т.д., в связи с чем ленинградцы формулировали свои представления об этих категориях и путях «применения» исторического материализма в этнографии (см. подробнее об этом в разделе «Люди и идеи»). Как видно из стенограммы, на совещании проявилась лидирующая роль Н. М. Маторина, лучше других понявшего, что не следует отдавать такой бесценный ресурс, как марксизм, Аптекарю, и укрепившего свое выступление надежным «частоколом» цитат из Маркса, Энгельса и Ленина, доказывавших, насколько классики интересовались этнологическими материалами и ценили первого «стихийного» исторического материалиста Моргана.

2.3. Подготовка совещания

О подготовке совещания мы знаем довольно мало. Судя по репликам краеведов из регионов на самом совещании, можно сделать вывод, что готовилось оно весьма спешно. Об этом свидетельствует и протокол заседания Совета МАЭ от 2 апреля 1929 г., то есть фактически за три дня до начала совещания: «Присутствовали: Директор музея Е. Ф. Карский, Д. К. Зеленин, Э. К. Пекарский, С. М. Дудин, Б. Н. Вишневский, В. Г. Богораз, И. И. Зарубин, В. М. Лемешевский, А. М. Мерварт, И. И. Майнов, Г. О. Монзелер, А. Б. Пиотровский, Е. Г. Кагаров, А. В. Шмидт, С. А. Штернберг. Заслушаны: предложение Организационного бюро по созыву совещания этнографов Ленинграда и Москвы избрать представителей на совещание в количестве 4-х человек на паритетных началах от старших и младших работников (совещание состоится от 5 до 10 апреля). Постан[овили]: от старших научных сотрудников просить принять участие в совещании в качестве представителей МАЭ — Д. К. Зеленина и А. М. Мерварта. Младшим научным сотрудникам предложить произвести выборы из своего состава» [СПФ АРАН. Ф. 142. Оп. 1 (1929). Ед. хр. 10. Л. 53].

Судя по всему, совещание для всех участников было в значительной мере «промежуточным». Есть основания об этом говорить еще и потому, что уже 6 апреля 1929 г., на следующий день после начала работы совеща-

ния, будет высказана идея о необходимости организации этнографического съезда, а в конце совещания его участники будут всерьез обсуждать вопросы о его проведении (см. ниже раздел «После совещания»). Мы не можем быть до конца уверены, что совещание проходило при том количестве человек, которое упоминают Кошкин и Маторин в своей резолюции. Скорее всего, это был своеобразный поток, о чем свидетельствуют и замечания некоторых докладчиков.

Эпоха отчетливо проявляется в технической и бюрократической истории совещания 1929 г. В ходе чтения стенограммы читатель увидит, как его участники интенсивно обменивались телеграммами. Эти телеграммы присылались и отправлялись не только в адрес учреждений, но и от лица таких же заседаний, которые проходили в Москве и Ленинграде. Как пример можно привести II Всесоюзную конференцию марксистско-ленинских научно-исследовательских учреждений, которая проходила с 8 по 13 апреля 1929 г. в Москве, в Коммунистической академии. Эта конференция стала одним из основных событий в борьбе между «деборинцами» и механистами (механицистами). Итогом этой конференции стала победа «деборинцев», за которой последовала книга «Современные проблемы философии марксизма», ставшая концептуализацией идей группы последователей А. М. Деборина. Телеграммы, слухи, возможно, телефонные звонки создавали одновременность присутствия в производстве академического знания, еще должным образом не разграниченного дисциплинарными барьерами.

Технически каждый день совещания был разделен на утреннее и вечернее заседания. В некоторые дни проводились только утренние заседания. Утренние заседания обычно начинались в 11.30 и длились до 16.30, вечерние порой длились до 22.00–23.00.

3. Люди и идеи

Набор тем, которые были представлены на совещании, огромен: объект этнографии, характер и методы полевого исследования, этнографическое образование, этнографический музей и многое другое. Чтобы показать смысл и характер всех дискуссий, нам понадобилось бы написать серию статей. Мы остановимся только на нескольких темах исходя из двух соображений: влияние на последующее развитие дисциплины и характер самих дискуссий (острота, точность формулировок и т.д.). Таковыми оказались дискуссии о предмете этнографии, которая вылилась в обсуждение соотношения этноса, культуры и формации, и дискуссия о «поле», занявшая едва ли не треть всего времени и дающая представление о том, как этнографы того времени стремились увидеть фундамент этнографии и как по-разному они представляли само «поле»: от небольших экскурсий до длительных, порой многолетних, экспедиций.

Прежде чем перейти к рассмотрению этих тем, постараемся охарактеризовать язык, возраст и социальное положение участников совещания. Начнем с двух последних пунктов.

Лидерам (как в интеллектуальном, так и в административном смысле) этнографии того времени было предоставлено право прочитать свои доклады. Это были П. Ф. Преображенский (35 лет), Н. М. Маторин (31 год), В. Г. Богораз (64 года), В. Б. Аптекарь (30 лет), С. Ф. Ольденбург (66 лет; на конференции отсутствовал), Б. М. Соколов (40 лет), Б. Г. Крыжановский (43 года), Б. А. Куфтин (37 лет), С. П. Толстов (22 года; на момент проведения совещания являлся студентом МГУ!), а также руководитель Главнауки М. Н. Лядов (57 лет).

В скобках мы указали возраст каждого участника. Нетрудно посчитать, что средний возраст докладчиков (мы исключили из подсчетов С. Ф. Ольденбурга, доклад которого прочитал Б. М. Соколов) был 39,8 лет. Люди, сидевшие в зале, были ровесниками и даже младше таких докладчиков, как Б. М. Соколов и П. Ф. Преображенский. Иными словами, докладчики не были противопоставлены по возрасту вопрошающему залу, а доклады



Рис. 3. Участники совещания этнографов Москвы и Ленинграда, 1929 г.

[Личный архив А. Г. Данилина].

Сидят слева направо: третья — Л. Э. Каруновская, пятый — С. Ф. Ольденбург <...>.

Стоят слева направо: I ряд (4 человека); II ряд (17 человек);
восьмая — С. А. Раттнер-Штернберг

теоретик, на которого пытались опереться все участники дискуссии. Сложность состояла в том, что с точки зрения терминологии эта опора оказывалась более чем шаткой, а темнота и неконвенциональный стиль многих писаний Марра, подчеркивавшего, что его «яфетический конь» находится в постоянном движении, а теория меняется буквально ежегодно, сами были порождением «теоретического хаоса» эпохи. К примеру, в докладе «К вопросу об историческом процессе в освещении яфетической теории», сделанном им на Первой конференции историков-марксистов (1929), он поставил под сомнение почти все базовые категории социальных наук. Культура, утверждал он, — понятие «надстроечное», расплывчатое и отвлеченное, «к ней, как к стремившейся к самодовлеющему бытию, не без основанияросло недоверие» [Марр 1934: 152]. Предложив экспромтом переименовать КИПС (Комиссию по изучению племенного состава) в КИСС (Комиссию по изучению социального состава), в заключительном слове он признал наличие «путаницы в терминологии», так как не нашел нужных терминов: «Это замечание, касающееся путаницы в терминологии. Но виноват ли я в этом — не знаю, потому что я еще нужных терминов не нахожу. Нельзя все время в кавычках ставить в новом смысле используемый термин. Мне нужна определенная социальная группировка, которая не будет ни племенем, ни случайной группой. Когда это производственно-социальная группа, как мне ее назвать? Я с удовольствием приму термин, если мне его укажут. Я понимаю, что нельзя ее назвать классом в обычном теперь смысле, но назвать этнической группой я не могу. Поэтому и происходит путаница. Эти вопросы могут быть решены только марксистами» [Там же: 157, 175]¹.

Проблема определений была основной для большинства дискуссий. В марровской этнографии сохранялась двойственность «этноса» и самого феномена этнического/национального. С одной стороны, он, безусловно, отвергает «мистический» и внеисторический «этнос» и, по словам Ф. Бертрана, «систематически противостоит любой идее культурной специфики, которую он связывает с известным отныне благодаря яфетидологии процессом стадийного развития», с другой — автохтонность и этногенез являются ключевыми понятиями позднего «марризма», оказавшими огромное влияние на все последующее развитие советской гуманитаристики ([Бертран 2007: 174; Slezkine 1996]; о влиянии Марра на этнографическое изучение религии и «первобытного мышления» см.: [Алымов 2008]). Мы подробнее остановимся на этом вопросе в процессе анализа концепции этноса.

¹ Ср. со словами Бунака: «Но мы должны сказать, что нам нужна догма, чтобы кто-то принес готовую догму, в нашей этнологической среде должен встать вопрос о применении этой методологии к нашему материалу, ибо наша методология должна исходить из нашей среды и нам нужна готовая догма» [Стенограмма: л. 202].

Что касается этнографии, то здесь мы также вынуждены говорить о странной двойственности.

С одной стороны, в его текстах этого периода несложно найти крайне нелестные отзывы об этнографии и этнографах. С конца 1920-х годов Марр ставил под сомнение правомерность существования этнографии и археологии как научных дисциплин, а в 1931 г. опубликовал резкую статью по поводу археологов и этнографов, объявив их непримиримыми врагами яфетидологии и пережитками, обреченными исчезнуть, но «оппортунистически сходящимися сегодня в одном беспринципном сообществе» [Марр 1931: 8–9, 23–24]. Эти формулировки, несомненно, предопределили решения Археолого-этнографического совещания 1932 г. Проектом Марра была «история материальной культуры», построенная на принципах стадильности и синтезирующая археологические, исторические, лингвистические, фольклорные и этнографические материалы на основе разрабатывавшейся им методологии.

«Тень» Марра, безусловно, стояла за всеми рассмотренными выше дискуссиями, однако его проект был лишь одним из вариантов «историзации» этнографии наряду с предложенными Богоразом, Куфтиным и Преображенским. Временная победа «истории материальной культуры», не приведшая в долгосрочном плане к конституированию данной дисциплины (оставшись, впрочем, в названии одного из институтов системы РАН в Санкт-Петербурге), но оказавшая несомненное влияние на методологию этнографии и археологии, была обусловлена его однозначным принятием политической линии на «большевизацию» Академии и огромным идеологическим, интеллектуальным и административным влиянием.

С другой стороны, академик с 1912 г., Марр был плоть от плоти петербургского научного мира и даже в 1930-е годы, будучи восьмидесятилетним стариком, осуществлял огромную повседневную работу по созданию и руководству множеством научных организаций¹. Ключевая фигура в трансформации Академии на рубеже десятилетий, он, конечно, не был ответствен за трагические стороны этого процесса, что, впрочем, нельзя исключать относительно некоторых его «оруженосцев» [Голубева 2002: 67–70].

Метафоры, спорность построений и т.д. не были столь большой проблемой для марровских последователей. Как вспоминала О. М. Фрейденберг, Марр покорял своих последователей полетом мысли, демократичностью и страстью к жизни и науке. В то же время у него было страстное, возможно, тщеславное и не слишком разборчивое к людям желание иметь как можно больше учеников [Фрейденберг 1988]. Эти ученики принадлежали

¹ В 1929 г. он декан восточного факультета, академик и вице-президент АН СССР, директор Государственной академии материальной культуры, директор Яфетического института АН СССР, директор Публичной библиотеки.

к самым разным, зачастую противоположным, типам научных работников. Примером такой противоположности могут служить В. Б. Аптекарь и О. М. Фрейденберг. Первый был яркий полемист и пропагандист, оставивший след в науке исключительно в качестве критика. Вторая — представитель петербургской интеллигенции и выдающийся литературовед-классик. В апреле 1929 г. по рекомендации Марра она приехала в Комакадемию, чтобы прочитать доклад и представить к печати свою работу «Семантика сюжета и жанра (Прокрида)». «Принимающей стороной» был Аптекарь, благодаря чему мы имеем живописный, хотя и нелицеприятный словесный портрет этого человека из дневника Фрейденберг: «В Москве я познакомилась с Аптекарем. Это был разухабистый, развязный и дородный парень в кожаном пальто, какое носили одни “ответственные работники”. Ходил он раскачиваясь, словно не желая признавать препятствий. Весело и самоуверенно он признавался в отсутствии образования. Такие вот парни, как Аптекарь, неучи, приходили из деревень и местечек, нахватывались партийных лозунгов, марксистских схем, газетных фразеологий и чувствовали себя вождями и диктаторами. Они со спокойной совестью поучали ученых и были искренне убеждены, что для правильной систематизации знаний (“методологии”) не нужны сами знания» [Переписка... 1990: 121].

Валериан Аптекарь действительно был ярким представителем поколения «выдвиженцев». Выходец из местечка в Полтавской губернии, еще гимназистом он вступил в РКП(б) и принимал активное участие в Гражданской войне на Украине. Будучи отправлен на учебу в Москву, он проучился один курс на историко-филологическом и один курс на факультете внешних сношений МГУ и уже с 1922 г. стал преподавать истмат и другие идеологические курсы в разных учебных заведениях, включая МГУ. В 1926 г. он лично познакомился с Н. Я. Марром и начал «серьезно работать по яфетической теорией под непосредственным руководством Н. Я. в качестве его ассистента» [Алымов 2006: 86]. Его деятельность в области критики этнологии совмещалась с пропагандой марризма и травлей его противников (в первую очередь Поливанова) на «лингвистическом фронте». Впрочем, «самоуверенность», отмеченная Фрейденберг, привела его не только к успеху в этой области, но и к двум выговорам «по партийной линии» за аморальное поведение и исключению из партии в 1932 г. «за сокрытие переговоров с руководителем антисоветской мясниковской группы — Н. Морозовым, предлагавшим ознакомиться с воззрениями этой группы и принять участие в ее работе» [Васильков, Сорокина 2003]. Этим, по всей видимости, объясняется отсутствие Аптекаря на Археолого-этнографическом совещании. С этого времени и до расстрела в 1937 г. он в основном занимался подготовкой и изданием пятитомника избранных работ своего учителя. Несмотря на то что радикальные взгляды Аптекаря отвергались подавляющим большинством этнографов, многие, как было пока-

зано выше, видели в его критике ключевых понятий этнографии справедливое зерно. В этой критике, на наш взгляд, и состоит его роль в истории науки. Его полемические выступления, равно как и его многочисленные вопросы «Что такое культура?», «Что такое этнос?» и т.п. (список вопросов, заданных им на совещании 1929 г. П. Ф. Преображенскому, характерен для участия Аптекаря и в других диспутах), «развязывали языки» и провоцировали этнографов формулировать свои теоретические взгляды.

Следует указать на еще один аспект, позволяющий лучше понять генезис основного тезиса Аптекаря о несовместимости «этнологизма» и марксистской социологии. Попав в начале 1920-х годов в МГУ, он видел, что все гуманитарные науки были сосредоточены на факультете общественных наук (ФОН). В 1922 г. в рамках этого факультета было создано этнолингвистическое отделение с кафедрой этнологии и социологии (с 1923 г. кафедры этнологии). Постепенно, как пишут Г. Е. Марков и Т. Д. Соловей, «этнология стала претендовать на некий широчайший междисциплинарный подход к исследованию истории человеческой культуры, объединявший целый ряд гуманитарных дисциплин, включая гражданскую историю». В 1925 г. в МГУ был создан этнологический факультет, состоявший из четырех отделений: этнографического, литературного, изобразительных искусств и историко-архивного [Марков, Соловей 1990: 80]. Эта институциональная экспансия этнологии послужила, на наш взгляд, предпосылкой представления Аптекаря о том, что данная наука претендует на то, чтобы «подменить» собой историю и исторический материализм. Но для ленинградцев «выпады» Аптекаря были вдвойне удивительными, так как здесь все же этнография вовсе не колонизировала гуманитарные дисциплины, а была только частью широкой образовательной системы.

В 1932 г. Аптекарь с присущим ему цинизмом рассказывал: «Недавно я встретился с Преображенским, и он мне сказал, что принял предложение читать курс по этнографии только потому, что “если бы я не взялся, то другой взялся бы, который еще больше чепухи наговорил бы”. Очень возможно, что так и было бы, но это не обоснование иметь кафедру» [АРАН. Ф. 359. Оп. 2. Ед. хр. 88. Л. 8 об.]. Профессор этнологического факультета МГУ П. Ф. Преображенский, наиболее видный теоретик «историзации» этнологии, действительно был одним из главных объектов нападков, следовавших после совещания 1929 г. Этому, конечно, способствовал тот факт, что он был единственный, кто выразил несогласие с резолюцией совещания, поскольку, по его мнению, в ней была дана «расплывчатая и неточная оценка этнологических учений». Негативному восприятию его выступления на совещании, возможно, способствовал и тот факт, что он был сравнительным новичком в этнографии и «кабинетным» теоретиком. Вместе с тем Преображенский, пожалуй, первым высказал идею созыва «этнографического съезда» и, по-видимому, предпринимал для этого опре-

деленные усилия. Еще в декабре 1927 г., на Втором совещании этнологов Центрально-промышленной области, он предлагал организовать в Москве при Главнауке единое «центральное этнографическое бюро» наподобие Смитсоновского института в США и созвать этнографический съезд «для выяснения всех организационных вопросов, сплочения всех деятелей в области этнографии и смежных дисциплин и установления перспективного плана работ» [Преображенский 1929а: 18–21].

Преображенский, конечно, не слишком подходил на роль «буржуазного профессора». Выходец из семьи священнослужителя и ученик выдающегося историка Р. Ю. Виппера, он стал профессором МГУ в 1921 г. в возрасте 27 лет — факт, ставший возможным исключительно благодаря революционным изменениям в высшей школе [Александров 2008]. Историк античности по специальности, Преображенский был очень активным лектором и популяризатором науки, читавшим курсы и публиковавшим работы по всем историческим периодам. Слушавший его в те годы в Институте красной профессуры историк А. И. Гуковский оставил о нем следующие воспоминания: «Судили о нем противоречиво. Одни восторгались его блестящими лекциями, другие считали циником, в словах улавливали ехидный подтекст. Я редко посещал его лекции, но думаю, что правы были и те и другие. В его личной жизни было много от “Москвы кабацкой”, а икапистов (студентов Института красной профессуры. — С. А., Д. А.) тех лет, романтиков и энтузиастов, пуритан в быту, мутило от нэповского духа. Несколько позже П. Ф. Преображенский нашумел книгой о Тертуллиане — яркой, но не имеющей ничего общего с марксизмом. Это был незаурядный человек, он лет на десять опоздал родиться и на прежнем небосклоне мог бы блистать звездой первой величины» [Гуковский 1965: 86].

Эрудиция и блестящее владение современной литературой и теориями были сильными сторонами его «Курса этнологии» [Преображенский 1929б]. В нем были изложены его взгляды на соотношение эволюционизма и «культурно-исторической школы» (диффузионизм), а также задач этнологии. Преображенский резко критиковал эволюционистов, особенно Моргана (и Энгельса), назвав его работу «образчиком эволюционной схемы, в настоящее время совершенно оставленной наукой» [Там же: 14]. Его симпатии принадлежали таким ученым, как Ф. Гребнер и Ф. Ратцель, «историзировавших» этнологию и поставивших в центр своих исследований вопросы распространения и заимствования культуры. Тем не менее он указывал на отсутствие внутренних связей в конструировавшихся ими культурных кругах и считал, что главным, что может объяснить их интеграцию, является «с точки зрения материалистического понимания истории <...> состояние производительных сил в данном культурном единстве». Другой важнейшей проблемой современной этнологической теории он считал вопрос аккультурации, то есть взаимного влияния культур друг на

друга [Там же: 27–29]. В двухстраничном послесловии, отвечая на критику своего курса, он указывал на понятие «технически-хозяйственной площади или ареала» как на необходимое для рассмотрения «ранних социально-экономических формаций в их различных вариантах, сейчас формулированных наукой еще сбивчиво и неточно», и предполагал, что «только из синтеза классической эволюционной школы (Морган, Тэйлор) с достижениями культурно-исторической может возникнуть построение, базирующееся на методе истории как науки — историческом материализме» [Там же: 213–214]. За такими терминами, как «культурный круг» Преображенского или «этническая формация» Кагарова и Куфтина, в целом близких первому по взглядам, а также раннего Толстова, еще не «отмарксизировавшегося» от своих учителей, безусловно, «скрывались» этнос/этническая группа и попытки найти этому понятию (и феномену) «место» в истории. В 1930 г. Преображенский опубликовал две статьи в журнале «Этнография»: «Реализм примитивных религиозных верований» [1930а] и «Разложение родового строя и феодальный процесс у туркмен-иомудов» [1930б]. По крайней мере, последняя отражала движение ученого в направлении марксистской проблематики.

Судьба представителей московской культурно-исторической школы сложилась драматически. Куфтин в 1930 г. был арестован, однако «отделался» несколькими годами ссылки в Вологде. К этнографии он не вернулся, но в 1933 г. переехал в Грузию и достиг больших успехов в кавказской археологии. Став первооткрывателем культуры Триалети, он получил за эту работу Сталинскую премию. Свой главный труд по кавказской археологии он посвятил Н. Я. Марру, «которому автор лично обязан кардинальными поворотами (1918 и 1933 гг.) к Кавказу и Грузии его исследовательского пути» [Куфтин 1949; Алымов, Решетов 2003]. После расформирования этнологического факультета Преображенский вернулся к историческим штудиям, охватывавшим сюжеты от античных поэтов до влияния Русско-японской войны на образование Антанты. В 1937 г. он был репрессирован, в 1941 г. — расстрелян [Иванова 1999].

Не менее важной фигурой на этом совещании был Владимир Германович Богораз, на котором, по сути, держалась ленинградская этнография. В целом, он, как и Преображенский, был мало похож на «буржуазного профессора», хотя и имел в своем облике много из того, что сочли бы буржуазным: у него были помощник и ассистент (Н. Г. Шпринцин, Л. П. Потапов), которые носили его книги, помогали с разными поручениями и т.п., а он платил некоторую сумму денег за их работу [Потапов 1993: 108]. В его биографии, как и у его друга и коллеги Льва Яковлевича Штернберга, была страница, которая имплицитно связывала их с «текущим моментом» в социальных науках — в своей юности они были народовольцами, пострадавшими от «царского режима», и провели несколько лет в ссылке на Чукотке (Богораз)



Рис. 5. Участники совещания этнографов Москвы и Ленинграда. 1929 г. Ленинград, Мраморный дворец [АМАЭ РАН. Ф. К-IV. Ед. хр. 29].
Сидят слева направо: 1) В. Г. Богораз, 2) Г.А. Старцев, <...>
 6) В. Ершов, <...> 8) А. Мельников, 9) Г. С. Маслова, 10) Н. И. Гаген-Торн.
Стоят слева направо: 1) Я. П. Кошкин, 2) Н. М. Маторин, <...>
 9) Н. П. Гринькова, 10) Э. Б. Петри, 11) С. Ф. Ольденбург,
 12) А. Н. Самойлович, 13) М. К. Азадовский, 14) А. Г. Данилин,
 15) Б. М. Соколов, 16) Ю. М. Соколов, 17) Н. Яковлев, 18) Г. Н. Прокофьев

и Сахалине (Штернберг). Кроме того, оба они были евреями и только благодаря В. В. Радлову смогли получить работу в Петербурге, преодолев черту оседлости. Для участников совещания народовольческое прошлое Л. Я. Штернберга в его биографии совмещалось со следующим фактом: изучение им систем родства гиляков (нивхов) было отмечено Энгельсом, с которым он даже состоял в переписке [Кап 2009: 52, 422]. Таким образом, несмотря на критику, эти обстоятельства словно отгораживали и Богораз, и Штернберга (к тому времени уже покойного) от настоящей травли.

Богораз на совещании был пропагандистом не столько марксизма, в котором он чувствовал себя довольно неуверенно, сколько долговременных экспедиций. Марксистский опыт Богораз вряд ли можно назвать удачным. Всю свою научную жизнь изучая чукчей, а именно — социальную организацию и религию (в первую очередь шаманство), он был скорее сторонником эволюционистских взглядов [Михайлова 2004; Кап 2008], как и его коллега Штернберг, но в отличие от Штернберга Богораз не был столь последователен в своей позиции. Для него этнография была лишь одной из сторон деятельности. Он сам о себе говорил как о двуликом Янусе, ко-

торый занимается этнографией как наукой и беллетристикой как призванием. Литературный и полемический дар Богораза делал его тексты, возможно, менее академичными и более художественными, особенно когда это касалось построения концепций. Курс лекций, вылившийся в книгу «Распространение культуры на Земле» (1928), — характерный пример богоразовского стиля теоретизирования, в котором огромная эрудиция и глубокое знание «первобытных» культур совмещались с эклектичностью методологии и мифопоэтическим мышлением аналогиями, позволявшим ему сближать явления из самых разных географических областей, эпох и наук. Историк С. И. Ковалев, написавший критическое предисловие к этой работе, указывал на эти свойства, бывшие в то же время в центре полемики между механицистами и «диалектиками». В их числе — «гипостазирование» культуры как самостоятельной силы и всевозможные биологические и механические аналогии, позволявшие ему говорить о культуре и исторических процессах в терминах «излучений», притяжения, отталкивания, роста, «мутаций» и половой принадлежности; преувеличение роли «географического фактора» в ущерб социальному и политическому анализу; отсутствие представлений об обществе и присущих ему «законах» и т.д. [Ковалев 1928]. Эти особенности становились явными слабостями, когда речь заходила о более современных исторических периодах, поскольку книга Богораза представляла собой попытку освещения с этногеографических позиций всей мировой истории.

Однако пресловутое «биологизаторство» Богораза и его представление о том, что этнография находится «на стыке» наук об обществе и природе, имели и гораздо менее экстравагантные обоснования, связанные с вынесенным им из полевого опыта представлением о важности взаимодействия человека и окружающей среды в условиях «примитивного» хозяйства. По всей видимости, марксизм он также интерпретировал вначале как преимущественное внимание к способам жизнеобеспечения, материальной культуре и взаимодействию человека с географической средой. На совещании эту идею наиболее отчетливо высказал Е. А. Крейнович, изложивший программу изучения годового хозяйственного цикла как «базиса», из которого этнограф исходит при понимании всей культуры. Такого рода движение от хозяйственного базиса к «идеологическим» надстройкам было им продемонстрировано, к примеру, в статье «Собаководство гиляков и его отражение в религиозной идеологии» [Крейнович 1930].

В книге Богораза можно увидеть и наследие боасовской антропологии, но только на месте миграций, в том числе и через Берингов пролив, представлял синтез движений языков, вещей и народов. В этом смысле Богораз был близок уже к Марру. И наконец, нельзя не сказать, что в значительной степени его последние книги были плодом теоретизирования, рожденного как соединение его преподавательской и экспозиционной деятельности.



Рис. 6. Участники совещания этнографов Москвы и Ленинграда 1929 г.
У входа в Государственную академию истории материальной культуры
[АМАЭ РАН. Ф. К-IV. Ед. хр. 29].

Слева направо: 1) А. Г. Данилин, <...> 3) М. К. Азадовский, 4) И. И. Козьминский,
5) С. П. Толстов, <...> 7) С. А. Токарев, 8) Ю. М. Соколов, 9) В. Г. Богораз,
10) А. Н. Акулянц, 11) Б. Г. Крыжановский, 12) Л. Б. Панек, 13) Л. Э. Каруновская, <...>
16) Н. Г. Шпринцин, <...> 18) Я. П. Кошкин, 19) Н. А. Никитина <...>

К 1929 г. Богораз находился почти на пике своей карьеры: он профессор в ЛГУ, работает в МАЭ в качестве заведующего отделом, руководит Ленинградским филиалом Комитета Севера. Помимо этого, у него огромное количество общественной работы. В действительности он являлся координатором в области этнографии Севера и шире — полевой этнографии в Ленинграде.

Вместе с В. Г. Богоразом в МАЭ работал и Николай Михайлович Маторин, после совещания 1929 г. ставший первым партийным директором МАЭ в 1930 г. [Решетов 2003а]. Маторин не имел полного высшего образования и первые годы занимался пропагандой, а позже, в 1924 г., был приглашен Л. Я. Штернбергом для чтения спецкурса «Методика изучения деревни». Это была часть большой программы, которая вылилась в серию публикаций о новой советской деревенской жизни (комсомоле, быте и др.). Тема деревни и ее «смычки» с городом была предметом теоретической и практической деятельности Маторина. Второй темой стала религия, а именно — проблема религиозного синкретизма, которую он освещает в книге «Религия у народов Волжско-Камского края прежде и теперь. Язы-



Рис. 7. Участники совещания этнографов Москвы и Ленинграда. 1929 г. Ленинград, Мраморный дворец [АМАЭ РАН. Ф. К-IV. Ед. хр. 29].
Слева направо: 1) А. Ф. Анисимов, 2) К. Раднер (*стоит*), <...>
 6) Ю. П. Аверкиева, <...> 8) Э. В. Зиберт, 9) Д. Коженикова, 10) В. Ершов,
 11) Н. М. Маторин, 12) Н. П. Дыренкова

чество–ислам–православие–сектантство» (1929). Эта книга была написана им в краткий волжский период. Осенью 1928 г. он вместе с семьей вернулся в Ленинград для чтения лекций в ЛГУ, главным образом на антирелигиозные темы. Напомним, что именно в этот период начинается антирелигиозная кампания. На этой волне Маторин сначала заведовал антирелигиозным отделением этнографического факультета, а в с 1929 г. возглавил кафедру истории религии. Совещание 1929 г. было для него важным событием, став своего рода пропуском в мир публичной академической жизни. В самом начале 1930 г. Маторин стал сотрудником КИПС, где он был заместителем председателя и заведующим европейским отделом, в октябре 1930 г. — директором МАЭ.

Несмотря на политическую активность, он создает, поддерживает и развивает международные связи МАЭ. В стенах музея будет организовано несколько крупных международных проектов — покупка архива и издание трудов Моргана, обмен коллекций с европейскими и американскими музеями [Купина 2004; Kan, Arzyutov (forthcoming)]. В это же время в МАЭ начали работать американский антрополог Ф. Бартон, проводивший от МАЭ полевые исследования на Филиппинах [Станюкович 1979], индийский революционер и этнограф В. А. Чатопадайя, этнограф голландского про-

исхождения В. Г. Трисман. Ю. П. Аверкиева отправилась в экспедицию к индейцам квакиутль вместе с «папой Францем» [Аверкиева–Боас, переписка 2006], что стало результатом договоренностей между В. Г. Богоразом и Ф. Боасом [СПФ АРАН. Ф. 142. Оп. 1 (1928). Ед. хр. 7], несмотря на начавшиеся между ними разногласия [Кан 2007]. Такого в стенах МАЭ больше никогда не будет. Конечно, судьба каждого из перечисленных ученых оказалась трагичной, но это произойдет позже, в конце 1930-х годов. Только Бартону чудом удалось сначала уехать на Филиппины, а потом вернуться домой в США. Из числа грандиозных проектов Николая Михайловича Маторина можно назвать, увы, несостоявшийся проект экспедиции на Новую Гвинею, которая должна была стать воплощением мечты о «реальной первобытности» [Алымов 2013]. Впрочем, экспедиция Бартона 1937 г. на Филиппины к ифугао отчасти воплотила эту мечту.

В начале статьи мы говорили, что на совещании произносились имена антропологов из Европы и США, многие из которых являлись современниками докладчиков. Несмотря на марксистский лейтмотив, в речах участников совещания слышны отголоски обсуждений тех или иных идей «западной» антропологии. Как писал социолог науки Роберт Мёртон [Merton 1988], порой в цитатах или упоминаниях имен мы можем разглядеть так называемый «невидимый колледж», состоящий из коллег и врагов, которые в равной мере задействованы в производстве знания. Очевидно, Маркс занимал первое место в списке имен. Мы же посмотрим на остальную часть «колледжа»:



Рис. 8. «Невидимые» союзники и враги советской этнографии в 1929 г.¹

¹ Мы включили в эту схему только те имена, которые упоминались на совещании не менее пяти раз.

Как видно из этой схемы, имена Ленина, Моргана, Гребнера, Энгельса, Штернберга и Марра не сходили с уст участников совещания. Прежде всего такое «соседство» показывает, что упоминание политиков и ученых происходит с одинаковой частотой. С одной стороны, это говорит о собственно идеологическом рождении этнографии в СССР [Соколовский 2011: 72–73], а с другой — о том, как возникали концепции через использование заимствованных идей (Гребнер, Морган), их политическую контекстуализацию (Ленин) и нахождение местной предыстории (Штернберг). Таким образом, советская этнография стремительно накапливала преимущества («эффект Матфея» в социологии науки Мёртона). Можно говорить о том, что советские этнографы оказывались осведомленными едва ли не обо всех текущих дискуссиях в антропологии того времени в США, Великобритании, Франции, Германии, Австрии и т.д. (об этом можно судить по указателю имен в конце настоящего издания). Со временем «враги» все меньше будут фигурировать в дискуссиях, и вплоть до начала перестройки (а порой и до сегодняшнего дня) советские этнографы будут находиться в плену «союзников» своих учителей и учителей учителей.

3.2. Спор о терминах

Для анализа терминологии мы также прибегнем к нескольким процедурам контент-анализа стенограммы совещания. Для такого рода анализа обычно обращаются к ключевым словам, которые приводит сам автор после резюме к своей статье. Однако такая практика относительно нова и больше связана с интернет-технологиями (см. последний опыт такого анализа: [Соколовский 2014]). Мы выделили понятия и термины, которые наиболее часто встречаются в тексте стенограммы, и представили их на схеме.

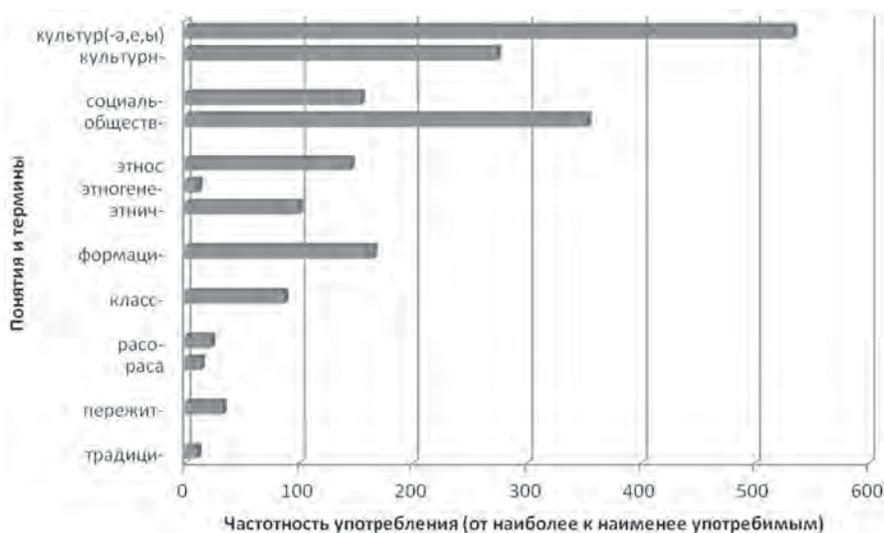


Рис. 9. Статистика употребления понятий и терминов

Эта диаграмма интересна по двум причинам. Если мы наложим на нее такие же диаграммы, но сделанные на основании стенограмм конференций этнографов (и археологов и фольклористов) в 1932, 1938, 1940 гг., то увидим не только динамику частотности употребления терминов, но и их внутренние альянсы друг с другом. Если на совещании 1929 г. основным «сгустком» (топосом) были термины «этнос», «культура» и «формация», то позже мы сможем увидеть «сгусток» из этногенеза/этногонии/этногенезиса и культуры. Если представлять такие «сгустки» (топосы) как фигуры, то можно говорить о том, что они перетекали одна в другую, реагируя на окружающий социальный и политический контекст, при этом некоторые понятия обрели рядом с собой прилагательные, создав дополнительные смыслы. Так в 1960-е годы появляются этническая и традиционная культуры.

А. Этнос

Обращаясь к тексту стенограммы, можно заметить, что едва ли не основным было понятие «этнос». Главный оратор совещания Аптекарь в своей речи говорил: «Для этнологов этнос выступает как некая ипостась, а не как историческая категория, потому что они этот этнос находят на всех этапах общественной формации, бывших и имеющих сейчас. Для марксиста этнос, как и нация и всякая другая категория, является категорией исторической, то есть возникает на определенной ступени, в определенном временном отрезке существует и на определенной стадии исчезает. Поэтому я рассматриваю этнос (может быть, некоторые товарищи это прослушали) как одну из ступеней или одну из стадий в историческом развитии производственного коллектива. Когда я говорил по поводу этноса и указывал, что этнос является проекцией классовых и прочих отношений в современном обществе на прошлое, то я как раз говорил не об этносе в марксистском понимании, а о том понятии этноса, которое употребляют и этнологи-немарксисты» [Стенограмма: л. 163] (курсив наш. — С. А., Д. А.). Этот фрагмент из речи Аптекаря хотя и вызвал споры в зале, но наиболее точно отразил ту проблему, с которой столкнулся как сам докладчик, так и те, кто стремился связать марксистскую парадигму, основанную на идее формаций с их революционной сменяемостью, с концепциями, которые не учитывали само понятие времени и выступали имманентными категориями, присущими всему человечеству.

Как известно, первым об этносе в русской антропологии высказался Н. М. Могиланский [1908]. Есть основания предполагать, что эта идея была им заимствована из французской антропологии, где в это время шли дискуссии об употреблении понятия *ethnie* (первое употребление в антропологическом контексте на французском языке: [Vacher de Lapouge 1896]). Могиланский и знаменитый французский социолог и этнолог Марсель

Мосс поддерживали отношения, последний даже приезжал в июле 1906 г. в МАЭ для работы с эскимосскими коллекциями и останавливался у Могилянского [Fournier 2005: 129]. Возможно, что обучение в Париже [Валашкова, Решетов 1995] оставило у Могилянского свой след в использовании такого термина, как «этнос». Французские истоки советского «этноса» переплетаются с французскими же биографиями тех, кто его впервые употребил в России (Ф. К. Волков (Вовк), Н. М. Могилянский, С. И. Руденко, С. М. Широкогоров). Большинство из них этнос понимался как синоним народа. Только у Широкогорова он получил специфический смысл. Заклейменный как внеисторичный, а потом и как буржуазный, этот термин употреблялся довольно редко вплоть до эпохи Ю. В. Бромлея (встречается в текстах П. И. Кушнера, С. А. Токарева, Н. Н. Чебоксарова).

Ниже мы приводим диаграмму, позволяющую понять, кто из участников совещания наиболее часто употреблял в своей речи слово «этнос» (вне зависимости от отношения к нему).



Рис. 10. Употребление слова «этнос» участниками совещания 1929 г.

Как видно, самым активным в употреблении термина «этнос» был В. Б. Аптекарь, именно тот, кто термин не признавал и считал его метафизическим, но позже даже высказался о некоторых этапах развития этноса: «Мы имеем стадии: доэтническую, этническую, национальную и вне-национальную. В существовании этноса Петр Федорович [Преображенский] сомневается, но в том, что нация существует, нельзя сомневаться. И все-таки науки о нации нет» [Стенограмма: л. 157].

Очевидно, что «теоретический хаос» был свойствен не только Куфтину, но и многим другим. Этнос, нация, народ, воспринимающиеся нами как отдельные термины, для них не имели четких границ, хотя из текста стенограммы мы можем увидеть формирование терминологических отличий.

Вторым, кто активно использовал термин «этнос», был лингвист-кавказовед Николай Феофанович Яковлев, определивший собственно проблеме этноса для участников совещания: «Много говорилось о том, нужен или не нужен этнос, но никто не поставил вопроса об этносе в плоскости развития общественных формаций. О национальности мы можем сказать, что она появляется на определенной общественной формации, что есть до-национальное общество. Но что такое этнос? С самого ли начала появления общества мы имеем этнос, потом национальность? Если бы мы попробовали увязать национальность, этнос и доэтнические общества на основе общественной формации, может быть, получилось бы не марксистское, но марксистскообразное представление. Пока же этого нет» [Стенограмма: л. 124].

Однако, несмотря на то что этнос был едва ли не в центре внимания этнографов, никто не мог дать ему определения. Заведующий Главнауки Мартын Николаевич Лядов (Мандельштам) высказался довольно радикально: «Мы не будем спорить, существует этнос или нет. Мы не знаем мертвых абсолютных категорий. Мы не можем дать определение нации; тут получится такое же разногласие, как по определению этноса, потому что у нас нет раз [и] навсегда зафиксированных понятий. Мы имеем все в динамике; это меняющиеся категории. Абсолютного представления об этносе нет и быть не может. Пока этнография искусственно проводила рамки между отдельными категориями, она наукой считаться не могла. Еще раз повторяю, все движется, все меняется, и именно в динамике мы будем познавать, а не в статике» [Стенограмма: л. 209–210].

Как бы то ни было, этнос был оформлен дискурсивно, о нем много говорили и спорили и порой совершенно по-разному определяли. На его фоне более четкой была концепция формации, возможно, и потому, что имела необходимые преимущества в виде достаточного количества ссылок на классиков. В ситуации «брака по любви» этнографии и марксизма (определение участника совещания М. Я. Феноменова), этнос и формация должны были быть кем-то из участников совещания «повенчаны». Путь к такому объединению постарались найти два человека — Е. Г. Кагаров и Б. А. Куфтин. Они, как, возможно, большинство участников совещания, не только думали об этом компромиссе, но, изобретая термины, невольно вплетали их в контекст исследований и дискуссий, уже имевших место в этнографии, создавая тем самым генеалогию собственных терминов и понятий.

В 1928 г. Кагаров написал статью «Пределы этнографии», где ввел понятие «этнографической формации»: «Все население земного шара распадается на ряд “этнографических формаций”, которые, приспособляясь

к данной жизненной обстановке или “экологии”, образуют типичные органические единства, в которых физический *habitus*, психологическая структура и материальные, социальные и умственные элементы культуры составляют единое целое». Он также добавляет: «Исследование этнографических формаций и их распределения по Земле, изучение их культур, их экономических и психических компонентов и взаимоотношений между культурными ареалами составляет первую задачу этнографии» [Кагаров 1928]. «Этнографическая формация» Кагарова 1928 г. стала «этнической формацией» Куфтина в 1929 г.: «Этнология преимущественно сосредоточивает свое внимание на этногенезисе, изучая историю общественных форм и культуру в процессе племенных формообразований и, следовательно, в разрезе формаций этнических, возникающих, бытующих и исчезающих на основе более общих законов исторического развития» [Стенограмма: л. 249].

Оба автора в статье Н. М. Маторина 1931 г. станут «эклектиками», не понявшими марксизма [Маторин 1931: 8–9]. В действительности же концепции Кагарова и Куфтина были немного отличны одна от другой. Если для Кагарова «этнографическая формация» была связана исключительно с социальным и «экологическим» контекстами (сходное видение этноса было у Преображенского [Стенограмма: л. 56]), то Куфтин поворачивает «этническую формацию» в историческое русло, хотя для них обоих, как мы уже отметили выше, «этническая формация» была синонимом этноса/народа.

Обратимся к некоторым источникам этой концепции. Кагаров, знавший англоязычную литературу, прибегнул к построению концепции, очень близкой к «психоментальному комплексу» С. М. Широкогорова [Shirokogoroff 1935]¹, где идея физической и ментальной реакции на среду (*milieu*) играла главную роль. Первые высказывания Широкогорова по этому поводу относятся к первой половине 1920-х годов, в том числе в его брошюре “Ethnical Unit and Milieu” [Shirokogoroff 1924]. Примечательно также и использование Кагаровым понятия “*habitus*”. Напомним, что это популярное сегодня понятие в социологии, прежде всего в парадигме Пьера Бурдьё, появилось в социальных науках благодаря Марселю Моссу, который заимствовал его у Аристотеля [Mauss 1936]. Параллельно с Моссом этим термином пользовались биологи и медики. Кагаровский же *habitus* оказывается едва ли не зеркалом *habitus*'а Штернберга из последнего доклада об «айнской проблеме», сделанного им в Токио в 1926 г. [Штернберг 1929]. *Habitus* был важным моментом связи физической антропологии и этнографии, причем такая же связь конструировалась и Моссом, который пытался разглядеть социальный смысл тела, вылившийся потом в его знаменитую

¹ Заметим, что сам Широкогоров не использовал в одном контексте с этносом понятия об этногенезе/этногенезисе/этногонии.

работу «Техники тела». Такой синтез работ своих коллег, но с «привкусом» Леви-Брюля, а также с отсылкой к формациям Маркса превращал предлагаемую тему в довольно своевременную и политически правильную. В изобретении понятий, конечно, нельзя исключать и того факта, что Кагаров стремился стать «своим» в Ленинграде, совсем недавно (1925) перебравшись из Харькова [Кисляков 1963].

Куфтин вместе со своим старшим коллегой В. В. Богдановым и учениками (среди которых были М. Г. Левин, С. П. Толстов, Н. Н. Чебоксаров, в будущем ведущие специалисты по восточнославянской этнографии Н. И. Лебедева, Г. С. Маслова и др.) был сторонником «культурно-исторической школы». Ученики Д. Н. Анучина, эти московские ученые выступали сторонниками единства так называемой «анучинской триады» (антропологии, археологии и этнографии) и работали главным образом в области изучения материальной культуры, как правило, восточнославянского населения. В 1926 и 1927 гг. на базе Музея Центрально-промышленной области проходили этнографические совещания, на которых представители московской «культурно-исторической школы» и Д. К. Зеленин критиковали эволюционизм и выдвигали программу сравнительно-исторического изучения отдельных районов, в ходе которых во главу угла ставились вопросы взаимного влияния разных культур, а этнографические материалы (главным образом материальная культура) рассматривались как источник для изучения истории заселения той или иной территории. Именно эти идеи легли в основу доклада Куфтина на совещании 1929 г. Этнология, вне всякого сомнения, постулировалась им как наука историческая, изучающая не «статический этнос», а процесс формирования «этнической формации» (или племени, возможно, и нации — в тезисах Куфтина различий между этими понятиями не проводилось). Из пятого тезиса его доклада, в котором говорилось о том, что расовые, культурные и «эргологические» формации могут стать «интернациональными» [Стенограмма: л. 252], следует, по видимому, заключить, что под формацией Куфтин в данном случае понимал некую общность расовых или культурных признаков на определенной территории, совокупность которых образует, как выяснилось в ходе ответов на вопросы слушателей, этническую формацию, или, «иначе говоря, племя» [Стенограмма: л. 266]. Некоторая усложненность языка привела к тому, что теоретическая часть доклада Куфтина на совещании была проигнорирована, однако проблема, что делать с этносом при историческом, а тем более формационном подходе к этнографии, осталась. В 1932 г. этот вопрос попытался решить С. Н. Быковский, заменив этнос племенем и нацией, становление которых приписывалось соответственно эпохам «разложения» первобытного строя и феодализма. Все вопросы о преемственности между этими двумя формами общностей снимались, так как, согласно Сталину и Марру, «на каждую из известных групп древности претендуют все со-

временные народы, как и каждый из современных народов не произошел от какой-либо одной группы» [Быковский 1932: 13].

В ранних дискуссиях об этносе можно увидеть и следы прежних дискуссий о народе и народности, которые наиболее активно происходили накануне первой переписи населения в 1896 г. Основанием этих дискуссий была в том числе и сословная модель, берущая свое начало со времени реформ М. М. Сперанского, в рамках которых появилась этническая составляющая (инородцы). Это выразилось в том, что во время переписи сословное деление отчасти смыкалось с делением по национальному признаку. Жюльет Кадио пишет, что «для опрашиваемых и переписчиков этническая принадлежность была знаком социального статуса, занимаемого внутри имперской иерархии» [Кадио 2010: 87]. В этом смысле попытки историзации и «марксизации» этноса на совещании 1929 г. были способом уйти от указанной сословной модели, переводя этнос на язык формаций.

Удивительно, что Широкогоров был упомянут Кошкиным [Стенограмма: л. 452], который, несомненно, знал все статьи Сергея Михайловича, поскольку был, как и он, тунгусоведом, только однажды — как пример идеалистических построений в этнографии. Казалось бы, Широкогоров мог бы быть идеальной мишенью для критики, будучи куда более знакомым, чем пресловутый патер Шмидт. Но, видимо, бороться с далеким немецким врагом, идеально подходящим под понятие «буржуазный», было удобнее, чем с бывшим русским, а на тот момент времени китайским этнографом. На фоне «культурной революции», социалистического строительства и уже имевшегося за счет первых переписей списка национальностей этнос оказался неподходящим термином. «Культурные революционеры» в СССР обошлись без него.

Вдалеке от Ленинграда теоретик этноса Широкогоров воспитал плеяду учеников, среди которых был и Фей Сяотун (费孝通), отмечавший, что в его разработке национальной политики в Китае в период «культурной революции», в том числе в концепции *минзу* (рус. ‘нация’), влияние этноса Широкогорова было куда сильнее, чем влияние британской антропологии и его второго учителя — Бронислава Малиновского. В интервью “Current Anthropology” в 1988 г. Фей Сяотун признается, что именно Широкогоров оказал на него самое большое влияние, но вместе с тем он говорил о его «этносе» с сожалением, так как это понятие с большим трудом могло быть инструментализировано [Pasternak 1988: 650]. Так или иначе, Широкогоров и его концепции оказались на перекресте значительного числа школ в антропологии¹.

¹ О судьбе концепций этноса и «психоментального комплекса» С. М. Широкогорова в многочисленных «западных» и «восточных» антропологиях см. в статье Д. В. Арзютова и Д. Дж. Андерсона (готовится к печати).

Если посмотреть на дискуссию об этносе в 1929 г. еще шире, то мы увидим, что в это же время проходила череда дискуссий о понятии «культура» на Западе, во многом спровоцированных «Аргонавтами...» Бронислава Малиновского [Manganaro 2002]. Итогом стало то, что само понятие «культура» начало терять смысл, становясь «клубком» из разных значений и определений, то есть произошло то, что мы могли видеть на совещании 1929 г. с этносом. В конечном счете разнообразие определений культуры заставило двух учеников Боаса — Клайда Клакхона и Альфреда Кребера — написать книгу, представляющую свод определений понятия «культура» [Kroeber, Kluckhohn 1952].

Б. Техничко-хозяйственный ареал и историко-культурная провинция

Помимо этноса, важным в теоретическом смысле было понятие «техничко-хозяйственный ареал», предложенное П. Ф. Преображенским в начале совещания. Попыты классификации народов по географическому и хозяйственному признакам в это время предпринимает и Богораз в своей книге по этногеографии [Богораз 1928].

Сам Преображенский не дал точного определения, отослав слушателей к теории «культурных кругов» Гребнера. В контексте речи Преображенского его технико-хозяйственные ареалы были включены в дискуссии об этносе, что может быть сравнимо с 1960-ми годами, когда хозяйственно-культурные типы были важным аргументом в построении теории этноса Ю. В. Бромлея. Прежде всего Преображенский исходил из той простой идеи, что в относительной древности эти ареалы могли быть выявлены в своей «чистоте», а современность заставляет говорить о «смещении культур, смешении языков» [Стенограмма: л. 20]. Фактически это наблюдение Преображенского отзывается эхом в будущих концепциях «традиции» и «традиционной культуры/общества», что совпадает с появлением в советской этнографии теорий хозяйственно-культурных типов и историко-этнографических областей, которые стали итогом деятельности учеников Преображенского и Куфтина — М. Г. Левина и Н. Н. Чебоксарова [Решетов 2003б].

Вместе с Преображенским Куфтин ставил вопрос об «историко-культурных провинциях», приравнивая их к «культурным кругам» Гребнера [Стенограмма: л. 255]. Помимо стремления к историзации (как это было с этносом), Куфтин следовал за немецким народоведением и экономической и социальной географией в СССР, стремясь создать метаязык «настоящей науки». Взятые за основу элементы культуры теперь могли быть классифицированы и разложены на карте. Попыты такого классифицирования (можно сравнить с Францем Боасом и Джорджем Мёрдоком) создавали условия для истории народов, стирая грань между народами «историче-

скими» и «неисторическими». С. А. Токареву даже виделось, что, «когда все народы фактически станут народами, имеющими свою настоящую историю, тогда исчезнет и основание для существования этнологии как отдельной науки» [Стенограмма: л. 187]. Право на историю для всех народов СССР найдет свое выражение в неизданной «Истории СССР с древнейших времен до образования Древнерусского государства» [Альмов 2007: 137–141] и серии книг «Народы СССР», позже ставшей серией «Народы мира».

В связи с опытами классифицирования нельзя не отметить топологические метафоры, присущие Марру [Худяков 1935] и Богоразу [1928], — точки, пласты, круги, эллипсы, параболы, которые, по сути, заменяли определения¹. Приведем слова Богоразы: «Я, однако, не придаю особого значения точному определению терминологии. В науках сравнительно новых, только теперь приобретающих свое научное лицо, гораздо важнее определить наполнение, сущность, материю, чем термин, границы и формы» [Богораз 1928: 42]. Как это напоминает слова Марра, приведенные нами выше! Именно поэтому как в статьях Богоразы, так и в его книге термин «культура» постоянно меняет свое содержание. Последние работы Богоразы преследовали цель дать нехитрые обобщения для этнографии, что можно увидеть из названия его книг: «Христианство в свете этнографии» (1928), «Эйнштейн и религия. О применении принципа относительности к изучению религиозных явлений» (1923), «Распространение культуры на Земле. Основы этногеографии» (1928). В некоторых своих построениях Богораз отчетливо стремился к объяснению, например, этногеографии СССР и поискам связей между текущей политической обстановкой и социальными науками. Так, идеи о грядущем всемирном коммунистическом объединении находили отголоски в его книге: «Только в последнее время, с начала XX века, культура получает очертания всемирные. Отдельные разбросанные эллипсы, культурные круги с одним, двумя и многими центрами сливаются вместе, стремясь сплотиться в общий круг, периферия которого, по формуле Паскаля, будет расположена везде, а центр — нигде» [Богораз 1928: 254].

Эти идеи были нацелены на возможность не только классифицировать весь корпус этнографического материала, но и предложить новый научный и идеологический проект для молодой советской этнографии. Богораз даже намечает концепцию СССР как этногеографического пространства. Его «геополитика» сводилась к следующему: «Россия—СССР составляет не

¹ Обозревая историю теории этноса в СССР, можно заметить, насколько ее теоретики любили графики и схемы. Почти у каждого из них мы найдем графические зеркала теории, что особенно важно, когда внутренне непротиворечивое определение этносу дать было невозможно.

только образование историческое и политическое, но также и особое этногеографическое целое. Россия последних веков даже по своей геометрической форме является как бы полосой, скрепляющей и стягивающей вместе разнохарактерную Евразию <...> Этногеографическая политика СССР является продолжением и усилением, преобразенным наследством этногеографической политики предыдущего периода. В своей новейшей форме этногеографическая политика Союза Советских Социалистических Республик приобретает какую-то новую крепость, пластичную и вязкую, свойства каучука и стали. <...> Однако, в отличие от предыдущего периода, эти новейшие образования построены на принципе полного равноправия и государственного самоопределения туземных народностей» [Там же: 259]. Один из участников совещания 1929 г. Богаевский выскажет очень созвучную с идеей Богораза мысль: «Наша советская этнология должна быть не чем иным, как научно-марксистским обоснованием Союза более чем 156 народностей» [Стенограмма: л. 94]. В этих высказываниях можно увидеть в том числе и идеологические конструкции так называемых евразийцев, в том числе и идеи Гумилева. Кстати, Богораз едва ли не первым из советских этнографов использовал понятие «советский народ». На совещании 1929 г. он говорит о населении СССР как об «сср-цах» [Стенограмма: л. 33].

3.3. «Большой нос, бумага и карандаш»: поле и полевая этнография¹

«Нужно подходить к туземцу как к человеку. Туземцы до сих пор не верят. Они в каждом пришельце видят эксплуататора или, по крайней мере, того человека, который хочет отнять у них не только всю территорию, но и все богатство, пушнину, промыслы и т.д. Всякий приехавший туда всегда будет с бумагой и карандашом. А это самая опасная вещь для туземца. Туземец боится этого смертельно. Если для русского смерть представляется в виде скелета с косой, то для туземца самым страшным является тип большеносого человека с бумагой и карандашом. Так вот, из этого вытекает следующее: всякий научный работник, исследователь и в особенности этнограф должен стать активным строителем жизни» [Стенограмма: л. 332]. Логика студента Богораза — юкагира Тэки Одулока, апокалиптически видевшего столкновение с этнографом, но вместе с этим желавшего строительства «новой жизни», очень характерна для того времени. В этом заключалась новая национальная политика, которая должна была быть реализована через полевую деятельность этнографов. Вместе с тем именно «поле» показало, насколько различно видение этнографии москвичами и ленинградцами.

¹ Мы уже обращались к анализу раннесоветской концепции «поля» и полевой работы [Арзютов 2012; Арзютов, Кан 2013]. В этой части статьи мы акцентируем внимание только на некоторых особенностях понимания «поля» на совещании 1929 г.

Дискуссия о «поле» состоялась 8 апреля 1929 г. Основными были доклады В. Г. Богораза «Стационарный метод в полевой этнографии» и Б. А. Куфтина «Задачи и методы полевой этнографии». В самом конце совещания Б. М. Соколов от имени С. Ф. Ольденбурга прочитал доклад «Увязка этнографических экспедиций отдельных учреждений».

От ленинградской части выступил Владимир Германович Богораз, который, имея опыт ссыльного народовольца, стремился в каждом из своих учеников увидеть добровольного ссыльного в Сибирь, *желавшего* прожить там не менее «этнографического года». Ко времени совещания в руках у студентов уже были полевые программы Л. Я. Штернберга [1914], а также учебное пособие С. А. Макарьева [1928], подготовленное на основании лекций В. Г. Богораза. Более того, в ЛГУ была введена практика, что студент накануне проведения полевого исследования должен был представить полевую программу, большая часть которых сохранилась в архивах Санкт-Петербурга.

Признавая этнографию как «науку об этнических группах», Богораз — едва ли не первый советский этнограф, который призывал к изучению не только аборигенов, но и социальных групп среди «культурных народов», таких как пастухи, лесные кустари, беспризорники, нищие и т.п. [Стенограмма: л. 237]. В такой формулировке он освобождал полевого этнографа от строгого следования за списком этнических групп, видя в последних что-то иное, нежели то, что позже закрепится за понятием «этнос». После такого утверждения к нему был обращен вопрос из зала: «Если профессор считает возможным этнографически изучать нищих, сплавщиков леса, сезонных рабочих, то входит ли в задачи этнографии изучение таких групп, как, например, ученые и т.п.?» [Стенограмма: л. 261]. Богораз уклонился от ответа, отсылая вопрошавшего к собственным лекциям в ЛГУ. Однако именно в этом замечании Богораза состоял едва ли не важнейший момент его речи. Он видел этнографию как метод и значительно шире, чем строгое следование за основным колониальным объектом — аборигенами.

Богораз также акцентировал внимание на психологической стороне полевого опыта и сформулировал общие принципы, которые примерно в это же время в социальную антропологию привнес Бронислав Малиновский с его “*participant observation*”, а более чем через 30 лет Клиффорд Гирц в США произвел революцию, создав свой интерпретативный метод. В продолжение этого модернистского тезиса «бытия-в-мире» сегодня британский антрополог Тим Инголд разрабатывает концепцию понимания жизни *изнутри* посредством научения в изготовлении вещей, понимании направлений ветра и т.д., что позволяет антропологу встать на другую сторону — своего полевого партнера. Замечания Владимира Германовича давали именно эту перспективу для дальнейшего развития его кажущихся сначала незамысловатыми утверждений.

Ироничный Богораз говорил: «Надо скормить туземным вшам 2 фунта своей собственной крови, чтобы понять его быт. А пища эта воспринимается очень маленькими порциями. Это означает, для того чтобы изучать культуру, нельзя чуждаться ни невежества, ни грязи, ни голода. Вы должны сами это претерпеть <...> Необходима физическая близость, личное восприятие бедности, холода, голода, участие в труде, участие в празднествах» [Стенограмма: л. 241]. Собственно этот долговременный опыт и пристальное наблюдение *изнутри* были реализованы единицами из значительного числа его студентов. Даже в вопросах из зала было видно, что все сидевшие хотя и понимали правоту позиции Богораз, но, по всей видимости, не могли связывать себя с «полем» на столь долгий период времени (см., например, ответ Маркелова на речь Богораз). Для полноценного «поля» Богораз отводил срок в 13 месяцев — годовой цикл, или «этнографический год». За это время этнограф может увидеть все сезоны жизни локального сообщества плюс один месяц, который позволит как бы замкнуть круг. Конечно, Богораз измерял «поле» через свой взгляд «политического полевика» [Ssorin-Chaikov 2008], вынужденного быть среди чукчей не по своей воле, но вместе с этим он отчетливо понимал, что без полевой работы никакое этнографическое исследование невозможно.

Имея опыт работы в МАЭ, Богораз довольно точно охарактеризовал изучение материальной культуры, разделив его на две группы: «немой комплекс», или «музейный тип», и собственно этнография материальной культуры. В этом отношении Богораз говорил о том, что изучение каждого музейного предмета требует детального изучения его социальной жизни в «поле». Этот призыв по большей части также оказался не услышанным, хотя дискуссия относительно необходимости изучения социальной жизни вещей могла бы стать важным шагом на пути теоретизации изучения материальной культуры, которое в 1980-е годы станет одним из быстро развивающихся направлений в культурной антропологии в США благодаря книге “The Social Life of Things” (1986) под редакцией Арджуна Аппадураи.

Желание студентов глубокого полевого исследования в реальности сталкивалось с тем, что им постоянно не хватало средств на экспедиции. Богоразу приходилось находить деньги на их проведение из самых различных источников, соединяя научные цели (через ЛГУ или МАЭ), политические (через Комитет Севера или КИПС), а также желание своих студентов жить на копейки в отдаленных и неблагоустроенных местах. Удивительно, но, несмотря на нехватку средств и сворачивание полевой деятельности для иностранцев на территории СССР, в частности в Арктике, после Международного совещания по плану устройства экспедиции в полярной зоне [Богораз 1929; Крупник 1998] Богораз предлагает своему старому знакомому Францу Боасу возобновить сотрудничество [СПФ АРАН. Ф. 142. Оп. 1 (1928). Ед. хр. 7]. Это происходит в 1928–1929 гг.

Богоразу удастся не только купить некоторое оборудование для студентов, но и даже отправить свою студентку Юлию Аверкиеву в США, чтобы она проводила свои исследования среди квакиутлей¹. Некоторым студентам Богораза (Е. А. Крейнович — среди нивхов; Г. Н. и Е. Д. Прокофьевы — среди селькупов и ненцев, Г. Д. Вербов — у ненцев и др.) удалось прожить в «поле» срок, о котором говорил их учитель. Все они были в «поле» не только этнографами, но и проводниками «культурной революции», или, как говорил сам Богораз, «миссионерами нового социалистического образа жизни».

Дискуссия о «поле» была, несомненно, одним из наиболее ярких событий совещания. Выстроенная вокруг докладов Богораза и Куфтина, отстаивавших соответственно стационарный и экспедиционный методы, она отчасти превратилась в соревнование этнографов двух столиц и двух философских подходов, часто обозначающихся в антропологии как *etic* и *emic*. В противовес Богоразу, неоднократно указывавшему, что идеальным полевиком был бы соответственно подготовленный местный житель-«туземец», москвичи (за исключением Феноменова) отстаивали ценности научной объективности и широкого сравнительно-этнологического анализа, в рамках которого полевое исследование мыслилось как добывание материалов для исторических и этногенетических обобщений. Даже краткосрочные экспедиции, уверял Куфтин, могут дать возможность хорошо подготовленному в сравнительной этнологии работнику собрать ценный материал, в связи с чем москвичи подчеркивали важность объективной «фиксации» материала и опасности субъективизма и местной ограниченности исследователя. Еще одним пунктом разногласий стало непосредственное участие этнографа в «культурной революции» или административной работе. Ученики Богораза были убеждены, что это только помогает им «сжиться» с местным населением, в то время как некоторые москвичи (Левин и особенно Преображенский-младший, назвавший такую практику «иезуитской» [Стенограмма: л. 279]) выступили с неожиданно резкой критикой этого, казалось бы, общепринятого в тот момент мнения.

Несмотря на существенные разногласия, и то и другое было «государственной этнографией», где наблюдалась определенная связь между деятельностью этнографа и государственным заказом, в том числе с регулярной отчетностью перед властью, тем самым создавая уникальную административную идеологию [Anderson 2000: 74]. В известном смысле мы можем говорить о том, что знание о государстве, скажем, для Севера наиболее четким было именно у этнографов. Этнографическое изучение

¹ Как итог ее полевой работы относительно недавно была опубликована ее книга по играм с веревкой у квакиутлей [Averkieva, Sherman 1992].

эвенков привело другого антрополога к заключению, что само государство на Севере существовало на пересечении кочевых путей эвенков и таких же перемещений экспедиций, их изучающих [Ссорин-Чайков 2011: 13]. О пересечении этих двух линий движения сегодня пишет тунгусовед В. Н. Давыдов, обращая внимание на роль проводников-каюров в диалоге между этнографами и местным населением [Давыдов 2013].

Чтобы реализовать полевой государственный проект, одному из академиков и администраторов хотелось выстроить пирамиду экспедиционной бюрократии, а именно — создать специальный орган, координирующий все экспедиции, словно стремясь к некому паноптичному учету знания о населении империи и движении этнографов на ее просторах. Именно об этом был доклад С. Ф. Ольденбурга, прочитанный Б. М. Соколовым на утреннем заседании последнего дня работы совещания. Идея Ольденбурга была связана с его многолетней деятельностью внутри Академии наук. Ему, как и многим другим, казалось, что большая координация и четкое управления улучшат качество работы. Задуманный проект Ольденбурга по созданию некоего координационного центра полевых исследований («Этнографическое экспедиционное бюро РСФСР», которое мыслилось как грядущее «Всесоюзное этнографическое экспедиционное бюро») содержал следующие три основные идеи: 1) создание справочников этнографов¹ и карт их экспедиций с указанием «белых пятен»; 2) согласование планов экспедиций; 3) создание единых полевых программ.

Возможно, что этот проект Ольденбурга, который, впрочем, не был реализован, конкурировал с уже существовавшим с 1926 г. в СССР Особым комитетом по исследованию союзных и автономных республик (ОКИСАР, председатель А. Е. Ферсман), известным также как Экспедиционный комитет. Своей миссией этот комитет видел «исследование Академией наук союзных и автономных республик и областей. Проведенное в течение последних лет переустройство прежней необъятной России по национально-бытовому признаку прежде всего пробудило на местах здоровое стремление к самопознанию и поднятию благосостояния народных масс» [ОБ 1926 (1): 1]. Основной функцией этого комитета было курирование всех экспедиций. Специалисты разного профиля должны были писать отчеты и публиковать их на страницах «Осведомительного бюллетеня» (выходил 2–4 раза в месяц), который не продавался, а рассылался только среди научных учреждений (сегодня библиографическая редкость).

¹ Разбирая документы из личного архива историка этнографии А. М. Решетова, один из авторов статьи наткнулся на опубликованную в журнале «Этнография» хронику совещания этнографов 1929 г. Напротив этого пункта там стояли многочисленные «галочки». По сути, А. М. Решетов реализовал только часть идеи такого справочника, составив, но не успев при жизни опубликовать библиографический словарь по большинству этнографов СССР и России XX в.

Глубокое полевое погружение в социальные и культурные практики внутри локального сообщества, краткосрочные маршрутные экспедиции и стремление к тотальному учету работы этнографов... Договориться о поле не удалось. Быть может, что такой задачи никто не ставил. Оборачиваясь назад, можно сказать, что «проект Богораза» не выдержал испытание временем: в послевоенный период в СССР возобладала более близкая к тому, что отстаивали на совещании москвичи, концепция крупной междисциплинарной («комплексной») экспедиции [Альмов 2013]. Проводившиеся в 1950-е годы многолюдные «полустационары» мало походили на богоразовский стационар, в идеале состоявший из пары (мужчина и женщина) или исследователя-одиночки. «Немой комплекс», потеря знания этнографом языка местного населения также, увы, стали реальностью этнографических исследований. «Анучинская» интеграция этнографии в археологию и физическую антропологию усилилась, в то время как наброски Богораза к концепции «включенного наблюдения» так и остались набросками, не превращенными в самостоятельную концепцию.

4. После совещания

Как свидетельствует «Хроника совещания этнографов Ленинграда и Москвы 5.04–11.04.1929 г.», опубликованная в журнале «Этнография» (1929. № 2), совещание приняло ряд резолюций по основным вопросам работы этнографов: о музейной и экспедиционной работе, участии в «социалистическом строительстве», этнографическом образовании и т.д. [Хроника 1929]. В теоретическом плане наибольшее значение имела резолюция по докладам П. Ф. Преображенского и В. Б. Аптекаря, в которой был сформулирован основной «лозунг дня» — «От классиков к марксизму»: «...советская этнография выдвигает лозунг не отказа от классиков, а перехода от них к марксизму, от стихийного материализма — к сознательному применению диалектического материализма» [Там же: 117]. Резолюция была предложена В. Б. Аптекарем, Я. П. Кошкиным и Н. М. Маториным и, как справедливо отметил А. М. Решетов, представляла собой компромиссную позицию, отражавшую как «полное единство марксистского фронта против <...> всякого эклектизма, вульгарного материализма и идеалистических тенденций в этнографии, против буржуазной “этнологии”» (отождествляемой в основном с немецкой культурно-исторической школой), так и счастливо найденную в ходе совещания генеалогию новой марксистской советской этнографии, в числе отцов-основателей которой были перечислены «лучшие представители» буржуазной этнографии — Э. Тайлор, М. Кастрен, Л. Морган, Л. Штернберг и Ф. Ратцель [Хроника 1929: 117; Решетов 2003а: 160–161]. Доклад Аптекаря действительно, по словам одного из участников, «развязал языки» и имел эффект разорвавшейся бомбы, однако после жесткой отповеди, данной ему не только Маториным, Тол-

стовым и другими этнографами, но и главным представителем партии на собрании старым большевиком Лядовым, Аптекарь, конечно, уже не мог «диктовать» свои условия. Резолюция использовала критическую сторону его доклада, который своим нигилистическим пафосом помог участникам совещания выстроить «правильную» генеалогию советской этнографии и сформулировать ее задачи на идеологически выдержанном марксистском языке.

Решения совещания 1929 г. воспринимались его участниками как предварительные. В последний день работы была избрана комиссия для подготовки Всесоюзного этнографического съезда, на который возлагались надежды более полного разрешения поставленных на совещании теоретических вопросов. В эту комиссию вошли В. Г. Богораз, Д. К. Зеленин, В.К. Никольский, М. Т. Маркелов, Н. М. Маторин, Я. П. Кошкин, С. П. Толстов и В. Б. Аптекарь, задачей которого было связать ее работу с Коммунистической академией. Примерно год после этого решения комиссия, судя по всему, практически бездействовала. Впрочем, за это время в жизни советской этнографии произошли существенные перемены: Комиссия по изучению племенного состава СССР (КИПС) была преобразована в Институт по изучению народов СССР (ИПИИ) по главе с Н. Я. Марром и его заместителем Н. М. Маториным. Этнологический факультет МГУ, на котором, по уверениям П. Ф. Преображенского, шла «историзация» этнологии, с этой задачей успешно справился и превратился в факультет исторический. 28 апреля 1930 г. Богораз, Зеленин, Кошкин и Маторин собрались и заслушали доклад Кошкина, указавшего на важную роль этнографии в социалистическом строительстве, признание этой роли лидером советских историков Покровским и на необходимость созыва съезда, на котором, как и на совещании 1929 г., предполагалось заслушать три рода докладов: а) методологические; б) о роли этнографии в социалистическом строительстве; в) «организационные» (музеи, переписи, образование и т.д.). Пожелание Зеленина о том, что на съезде «должно быть поменьше теории, а побольше практики», было отвергнуто остальными участниками [ГАРФ. Ф. 7668. Оп. 1. Ед. хр. 251. Л. 1–3].

После получения поддержки начальника Главнауки Наркомпроса Луппола ленинградская часть связалась с москвичами и представителями республик, в результате чего ИПИИ выступил с обращением о созыве съезда не позднее апреля 1931 г. На данной стадии съезд по-прежнему предполагался «для разрешения специфических задач этнографии как таковой». Во избежание «расплывчатости» участие «смежных» специалистов приветствовалось, но даже для фольклористов планировалось созвать отдельный съезд [ГАРФ. Ф. 7668. Оп. 1. Ед. хр. 520. Л. 52 об.]. Тем не менее к сентябрю 1931 г., когда Ученый комитет при ЦИК СССР подготовил окончательный проект его созыва, съезд уже именовался Первым всесоюз-

ным съездом по археологии и этнографии, а в качестве его организатора назывался оргкомитет, образуемый Ученым комитетом совместно с представителями наркомпросов союзных республик, Комакадемии, АН СССР, ГАИМК и других НИИ и музеев. В задачи съезда, согласно этому документу, входило: а) «установление содержания и задач истории материальной культуры, археологии и этнографии и их места в системе общеисторического знания в соответствии с марксистско-ленинским пониманием науки и методологическими требованиями диалектического материализма»; б) максимальная увязка научной работы в этих областях с задачами социалистического строительства и классовой борьбы; в) перестройка научной работы «в соответствии с решением ЦК ВКП(б) от 15 марта 1931 г.» [ГАРФ. Ф. 7668. Оп. 2. Ед. хр. 5. Л. 13–15]. Решения Съезда должны были поступать на утверждение президиума Комакадемии, после чего рассматриваться как «директивный материал» для всех научных учреждений [Там же: л. 9]. Таким образом, в конце 1930 — первой половине 1931 г. идея трансформировалась: из чисто этнографического съезд стал междисциплинарным.

Между тем дискуссии в Москве продолжались. 7 января 1930 г. в Комакадемию приехал В. Г. Богораз, чтобы сделать доклад о применении «марксистского метода к изучению этнографических явлений» [АРАН. Ф. 377. Оп. 2. Ед. хр. 24]. Не выступив с теоретическим докладом на совещании 1929 г., Владимир Германович активно воспринял «социальное задание перейти на марксистский метод». До поездки в Москву он несколько раз делал доклад в Ленинграде и в том же году опубликовал на эту тему большую статью [Богораз 1930]. Основной идеей этой работы был поиск корреляции, или причинной связи, между формами хозяйства, социальными институтами и «идеологическими надстройками», то есть культурой. В отличие от географического принципа «культурных кругов», Богораз попытался сгруппировать материал по «производственному» принципу, выделив три основные стадии «первобытного хозяйства» (собирательство; развитая охота и рыболовство; мотыжное земледелие и степное скотоводство) и показав, какие явления в технологической, социальной и культурной сферах этим стадиям соответствуют.

Москвичи, восприняв доклад как своего рода отчет о выполнении задания совещания 1929 г. группой этнографов, им представляемой, единодушно его раскритиковали. Токарев увидел в идеях Богораза скорее экономический материализм, стремящийся найти прямую эмпирическую связь между формами хозяйства и, к примеру, религии, упуская из рассмотрения социальные отношения, политику и т.д. [АРАН. Ф. 358. Оп. 2. Ед. хр. 177. Л. 17–18]. Толстов охарактеризовал доклад как «вульгарный материализм», свойственный теориям автора и в прошлом. По его мнению, Богораз подменял социально-экономическую формацию — основную категорию марксистского анализа, применение которой было «самым важным пунктом

резолуции» совещания 1929 г., — производственной стадией, выводить из которой «надстройки» напрямую нельзя [Там же: л. 19–21]. Однако, помимо критики и пожеланий увидеть социально-экономическую формацию, отклики не содержали конструктивных предложений. Богораз не упустил поставить это на вид молодым коллегам: «Вы говорили, что это неладно, а вы покажите, что ладно. Вам был дан специальный заказ — и тов. Маркелову, и тов. Толстову, а почему вы молчите, почему вы до сих пор молчали? Я первый выступил и должен сказать, что мой возраст, мое прошлое дали мне право, когда вы молчите, говорить от имени этнографов» [Там же: л. 27]. Ученый признал, что главные возражения по его докладу в Ленинграде и Москве сводились к подмене социально-экономической формации производственными формами, а также признал наличие этой проблемы — «узкого места этнографии», решить которую для ранних стадий сложно из-за отсутствия материала. Тем не менее старейшина этнографического цеха был явно обижен тем, что его усилия связать хозяйственные и идеологические «формы» в одну «общую схему» не были оценены, а конструктивное продолжение разговора, на которое он рассчитывал через месяц, не состоялось.

Следующим «эхом» совещания 1929 г. в Москве был диспут «Марксизм и этнология» по докладу профессора Ласси 4 июня 1930 г. [АРАН. Ф. 377. Оп. 2. Ед. хр. 130, 131]. Докладчик не согласился с резолюциями совещания и основными диспутантами 1929 г. Преображенским и Аптекарем. Первый, по его мнению, настаивал на слишком расширенном представлении этнологии, а второй тот же тезис применил к истории. Ласси считал, что этнология — самостоятельная наука, предметом которой является доклассовое общество. Этнология не может совпасть с историей хотя бы потому, что, как правило, не оперирует письменными источниками и не может «восстановить» в их отсутствие историю бесписьменных народов. В то же время Ласси вслед за марксистскими критиками считал, что «культура» — слишком расплывчатое понятие, чтобы быть «центральной проблемой» этнологии [АРАН. Ф. 377. Оп. 2. Ед. хр. 130. Л. 10]. Обсуждение этого доклада во многом вылилось в обсуждение решений ленинградского совещания. Наиболее развернутые реплики были даны Токаревым, Вартапетовым, Косвеню и Никольским. Токарев согласился с тем, что «схема» Ласси отражает нынешнее положение вещей, но выразил уверенность в том, что в будущем материал будет делиться не по дисциплинам, таким как этнография, история, археология и т.д., а по регионам и формациям [Там же: л. 19–21]. Развернутое выступление Вартапетова во многом повторило критику понятий «культура» и «этнос», данную Аптекарем. Он не согласился с позицией Ласси, так как доклассового общества в СССР в чистом виде не сохранилось. Вместе с тем Вартапетов выразил неудовлетворенность эмпирической «тряпкологией» (термин Богораз) и поддержал

решения ленинградского совещания использовать понятие формации для того, чтобы подняться над описанием «горшков и юбок» [Там же: л. 36–37]. Косвен высказался за историческую и социологическую науку о доклассовом обществе, положительно отозвался о совещании 1929 г. и роли Аптекаря, однако указал на то, что тот «топчется на месте» и этот этап дискуссии можно считать «превзойденным» [Там же: л. 38–39]. Подводя итоги обсуждения, историк Гуковский согласился с тем, что дискуссия между «этнологией» и марксизмом является пройденным этапом, а этнографам стоит заниматься не только пережитками докапиталистических формаций, но и проблемами строительства социализма в национальных районах. Он также настоятельно опроверг «сплетню», услышанную им в Ленинграде, о том, что «Комакадемия занимается разгоном этнографов», и предложил дожидаться созыва съезда этнографов-марксистов, который вынесет окончательную резолюцию по обсуждавшимся вопросам [Там же: л. 56–59].

К предстоящему съезду готовился и Н. М. Маторин, который должен был сделать на нем программный доклад. В начале 1931 г. появилась его статья «Современный этап и задачи советской этнографии», подводившая итоги прошедшего со времени совещания 1929 г. периода. Решения этого совещания он оценивал как в основном правильные, определившие «линию работы советских этнографов — за тесную увязку с социалистическим строительством, за изучение диалектического материализма, за использование наследства классиков (Тайлор, Морган), <...> против эклектических попыток соединения марксизма с учением культурно-исторической школы Гребнера и Шмидта» [Маторин 1931: 5]. Объясняя свой спор с Аптекарем, Маторин ссылаясь на оторванность последнего от конкретного этнографического материала и на свое уважение к достижениям «классической школы в этнографии», необходимость «внимательного отношения» к специалистам. Лозунг «От классиков к марксизму», явившийся, по словам Маторина, результатом компромисса между ним и Аптекарем, был «формулой перехода» и «тактическим контрлозунгом, выдвинутым против ревизии классиков с их стихийными прорывами к материализму, против ревизии, пошедшей со стороны культурно-исторической школы с ее российскими ответвлениями (группа П. Ф. Преображенского)» [Там же: 12]. Однако спустя два года, в течение которых не наблюдалось особого прогресса в освоении марксизма (причины этого крылись как в абстрактности построений истматчиков, так и в «ползучем эмпиризме» этнографов), этот лозунг был, по мнению Маторина, уже недостаточен.

Положительная программа Маторина, впрочем, не претерпела особых изменений. Ключевым в ней было «учение об укладах и формациях», в свете которого этнография должна заниматься доклассовой формацией — первобытным коммунизмом — и его пережитками в позднейших формациях, изучаемыми методом непосредственного наблюдения. Именно

специфика этого метода привела к своеобразному «этнографическому империализму», делавшему предметом этнографии современный быт колхозников и другие реалии, далекие от первобытности. В будущем этнограф ничем не будет отличаться от историка, однако пока этого не произошло, этнографический метод применяется и в изучении «ростков социализма», и в изучении конкретных народов СССР. «Чистых формаций», как неоднократно подчеркивал Маторин, не существует, на практике даже самые первобытные народы живут в капиталистическом или социалистическом окружении, и «никому не дано уйти от вопросов классовой дифференциации» [Там же: 21].

Другой чертой данной статьи, ранее не встречавшейся в такой форме в текстах Маторина, была резкая критика «великодержавного шовинизма и местного национализма» в работах этнографов. С середины 1929 г. в Академии наук начала работу специальная комиссия по «чистке» ее персонального состава, в результате которой более ста человек были арестованы и еще более пятисот уволены. Начались аресты по так называемым «Академическому делу», делу Центрального бюро краеведения, по которым, в частности, «проходили» этнографы Д. А. Золотарев и С. И. Руденко, подвергшиеся затем разносной критике. Вслед за «рубинщиной» в экономике, «деборинщиной» в философии и «переверзевщиной» в литературоведении появляется «руденковщина» в этнографии. [Худяков 1931; Бернштам 1932]. Фабриковались дела против «местных националистов», (дела «Союза освобождения финских народностей», «Союза освобождения Белоруссии», «Союза освобождения Украины»), в ходе которых пострадали сотни представителей национальной интеллигенции. Маторин в своей статье использовал стенограмму совещания 1929 г. для критики выступлений арестованных вскоре по делу СОФИН «удмуртского националиста» Кузубая Герда и московского этнографа М. Т. Маркелова [Маторин 1931: 31]. Его критике также подверглись «великодержавные шовинисты» Д. К. Зеленин и Д. А. Золотарев, арестованный по «Делу славистов» в 1933 г. заведующий украинским отделом Русского музея Б. Г. Крыжановский, расстрелянный в 1936 г. М. Г. Худяков и др. В обстановке арестов и «проработок» меняется и отношение к столь защищаемой Маториным в 1929 г. «классической школе в этнографии»: «Недостаточная проработка вопросов исторического материализма среди современного поколения марксистов <...> помешала тогда, в 1929 г., поставить вопрос более четко и коснуться основных проблем доклассового общества по существу, задержала также и углубленную критику работ школы Л. Я. Штернберга. Теперь это время наступило, размежевка ясна, и надо браться за дело» [Там же: 12].

В начале 1931 г. были написаны статьи для сборника «Этнография на службе у классового врага» (1932), развивавшие исторический аспект радикальной критики Аптекаря. «Этнография, — писал С. Н. Быковский, —

играла роль информатора правящих классов относительно состояния “инородцев”, в интересах империалистической системы хозяйства <...> выявляя условия быта, степень материального благополучия, культурного развития каждой отдельной “инородческой” группы и тем самым обеспечивая наибольший успех в порабощении и разорении каждой отдельной “изучаемой” нации» [Этнография на службе... 1932: 7]. Худяков, автор центральной статьи сборника «Великодержавный шовинизм в русской этнографии», делил российских этнографов на три основные категории: 1) помещики, крупные чиновники и миссионеры, разделявшие правые консервативные взгляды (Н. И. Ильминский, В. И. Ламанский, В. В. Радлов, И. Н. Смирнов и др.); 2) представители мелкой буржуазии, придерживавшиеся либеральных взглядов (из этой среды вышли Д. А. Золотарев, С. И. Руденко, С. А. Теплоухов) и 3) разночинцы-народники (Д. А. Клеменц, Л. Я. Штернберг и В. Г. Богораз). Критике подвергались в основном представители первых двух «лагерей», однако в целом книга резко контрастировала с попыткой Зеленина представить дореволюционную русскую этнографию на совещании 1929 г. «гонимой наукой», служившей не империализму, а народничеству.

Ситуация в советской науке в 1930–1931 гг. способствовала такому развитию событий. Принятый в 1930 г. новый Устав Академии наук в числе ее основных задач называл содействие «выработке единого научного метода на основе материалистического мировоззрения» и использование научных знаний «к удовлетворению нужд социалистической реконструкции страны», закрепляя, таким образом, методологическое единомыслие и практическую направленность работы ученых. Как об одном из мероприятий, направленных на решение этой задачи, в отчете Академии за 1930 г. говорилось о преобразовании КИПС в ИПИН и обеспечении в нем «должного влияния марксистской методологии» [Отчет 1931: II, VIII]. В то же время в Академии создается организационно-плановая комиссия во главе с вице-президентом АН академиком Н. Я. Марром, утвердившая общие принципы плановой организации научной работы. Отныне планы должны были составляться научными учреждениями совместно с Советом по изучению производительных сил и выноситься на обсуждение специальных конференций, созываемых под общим руководством Госплана с участием соответствующих научных организаций и государственных органов. «Наконец, для проведения итогов всей проделанной работы созывается общая конференция, которая и санкционирует как общие линии плана научно-исследовательской работы, так и произведенное размежевание работы отдельных учреждений» [Там же: XI–XII]. 15 марта 1931 г., как уже упоминалось, было принято постановление ЦК ВКП(б), требующее подчинения всей научной работы «строгой плановости» и преодоления «отставания научной работы от практики социалистического строительства». Постановление предпри-

сывало Комакадемии продолжить «искоренение» антимарксистских и ревизионистских теорий, а также выдвинуть на первый план «разработку конкретных узловых проблем, связанных с текущими задачами партии и пролетариата» [Все силы... 1931].

В течение 1930–1931 г. заметно изменилась позиция лидеров марксистской этнографии, постепенно отходивших от оптимизма по поводу этой дисциплины, высказывавшегося ими на совещании 1929 г. В 1932 г. Маторин уже публично «раскаивался» в своей защите «классической школы в этнографии» и ее представителей, ссылаясь на свою тогдашнюю неопытность: «Мы выдвинули лозунг “От классиков к марксизму”. Это был переходный лозунг <...> Мы не дали развернутой постановки вопроса о невозможности марксистско-ленинской этнографии тогда же — это было несомненной нашей ошибкой, которую честно нужно признать» [АИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 1 (1932). Ед. хр. 201. Л. 80]. Далее: «...для меня еще много значил авторитет классической школы в этнологии. Мы представляли себе дело таким образом, что, несмотря на все свои ошибки, в этой школе есть много стихийно материалистического, и поэтому нам важно взять тактическую линию на использование всех тех работников, которые еще сохранили эти стихийно материалистические моменты. <...>

Этнографическое совещание 1929 г. демонстрировало нашу половинчатость в этом отношении. Как я уже сказал и в своем докладе, мы не поставили точку над “i” и оставили лазейку для марксистской советской этнографии и т.д. С этим связан так называемый этнографический империализм, как в шутку говорили некоторые товарищи, то есть попытка определить этнографию таким образом, что она является всеобъемлющей наукой, изучающей все, начиная от пережитков [до]классового общества, кончая колхозами, индустрией нацрайонов и т.д.

Уже в передовой статье в “Советской этнографии” № 1–2 я попытался отойти от этого и снизить пределы этнографии, свести ее к задачам исторической науки, представляющей из себя часть общей науки. <...> Несомненно, что позиции марксистской или советской этнографии — позиции ложные. Я считаю это определенным эклектизмом, разновидностью которого является уже марксистская этнография в СССР» [Там же: л. 295–298].

О пересмотре Маториным своих взглядов, непосредственно предшествовавших Археолого-этнографическому съезду 1932 г., свидетельствует доклад «О задачах историков-марксистов на этнографическом фронте», сделанный им в январе 1932 г. в Москве на совместном заседании секции докапиталистических формаций Института истории Комакадемии и Общества историков-марксистов. В нем лидер ленинградских этнографов употреблял слово «этнография» только в кавычках и подчеркивал, что это понятие «является абсолютно изжившим себя в смысле особой науки»

[АРАН. Ф. 359. Оп. 1. Ед. хр. 154. Л. 23]. Труды российских этнографов Маторин подразделял на: «а) колонизаторские работы, посвященные Сибири, Поволжью, Кавказу и т.д.; б) работы местных этнографов буржуазных национал-демократов; в) работы великодержавных русских патриотов с восхвалением старинной русской культуры, искусства и т.д.», выделяя также «работы мелкобуржуазной народнической школы», представлявшие собой на фоне всего остального «до известного времени прогрессивное явление» [Там же: л. 20–21]. Начавшиеся с 1928–1929 гг. «искания» в области марксистской этнографии не привели к появлению конкретных работ, где этот метод был применен. Все попытки определить предмет этнографии как самостоятельной науки оказываются несостоятельными: при широком толковании она «подменяет» историю, которая только и может претендовать на изучение «конкретных обществ всех времен и народов», при сужении ее предмета до доклассового или докапиталистического общества теряется из виду необходимость использования для их изучения археологических, письменных и других видов источников. Следовательно: «Поскольку не существует и не может существовать этнография как особая самостоятельная наука, можно и должно говорить об истории как единой науке о диалектическом развитии человеческого общества. Так называемые “этнографы” превращаются в историков соответствующей специальности. Большинство из них, очевидно, должно будет сосредоточиться на истории родового и феодального обществ...» [Там же: л. 23–24].

Превратив «так называемых этнографов» в историков, Маторин выстраивал обширную программу их дальнейших действий, первые три пункта которой гласили:

«а) На всех исторических отделениях вузов выделить спецкурсы по истории доклассовых обществ как на советском, так и на международном материале;

б) превратить на деле “Историю России” в “Историю народов СССР”, так как разработка ее может вестись в первую очередь усилиями самих работников национальных республик и областей, то 1) в местных вузах <...> необходимо учреждение кафедр “Истории края”, отнюдь не сводя ее к истории русской колонизации, как то нередко бывает, а рассматривая ее как историю данной национальности или группы национальностей на материалах археологических, документальных, лингвистических и этнографических; 2) в центральных вузах история народов СССР должна включать в себя обязательно историю всех обществ, где сохранился до революции докапиталистический уклад» [Там же: л. 24–25].

Далее докладчик приводил внушительный список центральных и местных научных организаций, при которых, по его мнению, необходимо создать аспирантуры для подготовки кадров по истории доклассовых, родовых и феодальных обществ. Таким образом, при всей спорности оценок прош-

лого и настоящего этнографии и предлагаемых рецептов доклад Маторина вряд ли можно назвать неконструктивным. Этот тон обсуждения был продолжен Аптекарем. Наряду с традиционной для этого оратора критикой «буржуазных» ученых (на этот раз больше других «досталось» Кагарову и Куфтину), он критиковал деление народов на исторические и неисторические, а также деление на историю и «доисторию». Аптекарь по-прежнему называл этнографию «суррогатом», но на этот раз уже не социологии, а истории народов СССР, и сетовал на то, что эта история еще не написана [АРАН. Ф. 359. Оп. 2. Ед. хр. 88. Л. 5–7]. Маркелов поддержал констатацию того факта, что «этнографию похоронили и забили последний гвоздь в гроб этнографии и археологии». Созываемый этнографо-археологический съезд должен, по его мнению, направить «бывших этнографов» на изучение советской национальной политики [Там же: л. 12–13]. Толстов в своем выступлении также пересматривал свои взгляды двухлетней давности: «Я должен согласиться с той характеристикой, которую дал моим выступлениям тов. Маторин, и признать, что я был не прав, так же как и большинство выступавших специалистов-этнографов. Сама жизнь и та работа, над которой мы работаем для того, чтобы включить наши этнографические исследования в русло социалистического строительства, сказали, что этнографии как отдельной дисциплины, как отдельной науки не должно быть и не может быть. К этому положению я прихожу на практике своей работы. Практика работы разбила ту точку зрения, с которой я выступал на этнографическом совещании. Я музейный работник. Сейчас работаю над реконструкцией своего отдела в Центральном музее народоведения. Я прихожу к тому выводу, что этнографический музей мы создать не можем, что этнографический музей существовать не может. Тот музей, который мы строим, плохо ли, хорошо ли (когда он будет построен, мы будем критиковать), но этот музей не будет этнографическим. Это будет музей народов СССР, где этнографические источники и археологические источники выступают на равных правах, где основным стержнем является развитие исторического процесса, в частности в Средней Азии. Если мы не можем построить этнографического музея, это является критерием того, что такой науки существовать не должно <...> Поэтому я считаю, что этот вопрос нужно разрешить в основном до съезда. Выносить его лишний раз на съезд, чтобы снова углубляться в дебри, в которые углублялись в 29 г., не стоит. Это вопрос разрешила нам сама жизнь» [Там же: л. 14 об.–15].

Несколько раз откладывавшееся Всероссийское археолого-этнографическое совещание наконец состоялось в Ленинграде 7–11 мая 1932 г. Центральную роль в его подготовке, по всей видимости, играла ГАИМК. Это вытекает из своего рода программы совещания, присланной из ГАИМК в МАЭ 22 апреля 1932 г. В ней указывалось, что совещание созывается для «полной и коренной перестройки» научной работы в этих областях

и «изживания отставания теории от практики», на чем настаивало постановление ЦК ВКП(б) от 15 марта 1931 г. [СПФ АРАН. Ф. 142. Оп. 1 (1932). Ед. хр. 32. Л. 2]. В различных проектах программы этого совещания предполагались программные выступления Н. Я. Марра и В. Б. Аптекаря, однако их на совещании не было.

С. Н. Быковский и Н. М. Маторин прочитали доклады, называвшиеся соответственно «Возможна ли марксистская археология» и «Возможная ли марксистская этнография». Ответ на эти вопросы был однозначно отрицательным. «Буржуазная» классификация наук была основана на «гипостазировании» самостоятельных дисциплин исходя из различных видов источников (археологических, фольклорных, литературных, этнографических) и методов их получения (к примеру, «непосредственное наблюдение»). Буржуазной классификации противопоставлялась марксистско-ленинская. «В системе последней история человеческого общества делится на крупные разделы по признакам: а) общественно-экономических формаций, б) отдельных стран (история народов СССР, история Китая, колониальных стран и т.д.) и, наконец, в) отдельных сторон единого исторического процесса (история материальной культуры, история техники, политическая история, история религии, история искусства и т.д.)» [Резолюция... 1932: 7]. Утверждение о существовании марксистской этнографии в резолюции совещания было названо теоретически несостоятельным и дезориентирующим [Там же: 13].

Доклады, на основе которых была вынесена процитированная резолюция, особых прений не вызвали. Яркое выступление Толстова было вновь посвящено «невозможности» марксистской этнографии и этнографического музея, показывавшего «покоренные народы <...> как зверей, как животных, которые умеют красиво одеваться, носить красиво вышитые одежды, а внутри себя не имеют никакой истории» [АИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 1 (1932). Ед. хр. 201. Л. 100–101]. В выступлении Богораза звучали нотки разочарования: «Три года назад на этнографическом совещании мы, этнографы старшего поколения и примыкающие к нам, дали обещание на нашей работе по пересмотру наших прежних работ и к новым работам применять марксистский метод. С другой стороны, этнографы более новой школы дали обещание показать нам подход к этой работе, взять нас как бы на буксир, как это тогда называли. Вот из тезисов тов. Маторина видно, что это не было исполнено. Были трехлетние споры, которые вызвали дезориентацию ищущих правильного пути научных работников, и буксир не был исполнен...» [Там же: л. 373–374].

В ходе обсуждения в речах участников то и дело возникали мотивы «похорон», «ликвидации», «забывания гвоздей в гроб» и т.п. Чтобы противостоять подобному «похоронному» настроению, главные ораторы вселяли в собравшихся оптимизм. Маторин призвал бороться против «левацких

заскоков», выразившихся в закрытии этнографических музеев, и «привести на места не простую голую формулу “похоронили, справили поминки и больше ничего”, но мы должны приехать подкованными к работе и работать на местах с жаром» [АИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 1 (1932). Ед. хр. 202. Л. 26–32]. Ему вторил Кипарисов: «...никакой катастрофы, никакого погребения историков, именуемых этнографами и археологами, мы не имеем. Мы перестраиваем свои ряды, никто не собирается отказываться от такого великолепного источника исторического исследования, каковым является археологический и этнографический материал» [Там же: л. 54]. Завершая совещание, председательствовавший Луппол заверил: «...мы не отделяем этнографию от науки истории, отражающей общественные формы движения, изучающей общественно-социальные закономерности, но вместе с тем мы будем решительно бороться против тех, которые захотят истолковать это наше методологическое решение, эту нашу позицию, что вообще ликвидируется археологическая и этнографическая работа. <...> Вот с убеждением, что мы уяснили многое в отношении методологии, наметили много в отношении проблематики и перспектив на будущее, мы и разойдемся для непосредственной практической работы, которая поднимет, несомненно, археологическую и этнографическую работу на качественно высшую ступень» [Там же: л. 197–199].

Археолого-этнографическое совещание 1932 г. действительно представляло собой довольно странные «оптимистические поминки», на которых призывы «похоронить» и «забить гвоздь» перемежались с бодрыми отчетами о перестройке деятельности музеев и научных институтов и декларациями о перспективах деятельности «бывших» этнографов и археологов, а ныне — историков докапиталистических формаций. Уже в следующем, 1933, году Институт по изучению народов СССР был преобразован в Институт антропологии и этнографии, его директор Маторин на Первом всесоюзном географическом съезде прочитал доклад «Пятнадцать лет советской этнографии и ее дальнейшие задачи», и об «отмене» этнографии и археологии как научных дисциплин более не упоминалось [Решетов 2003в]. В вышеупомянутом докладе Маторин вновь осуждал «левацкие» и «нигилистические извращения», связанные с прекращением этнографической работы, и указывал на необходимость восстановления этнографического образования [Маторин 1934а: 101–103]. Таким образом, «похороны» этнографии не входили в истинные намерения даже главного докладчика совещания 1932 г. В то же время в его выступлениях прозвучали тезисы об «истории народов СССР» как новой парадигме, в рамках которой в дальнейшем будут работать этнографы.

В заключение приведем цитату из неопубликованной статьи Д. К. Зеленина «Этнографическая работа в СССР: основные линии и достижения», в которой классик этнографической науки, довольно скептически относи-

вший ко всем теоретическим спорам того времени, подводил итоги совещания 1929 г. и последовавших за ним дискуссий: «Вызванное социалистической революцией резкое преобладание в советском обществе интереса к социально-экономическим вопросам привело сначала к полумеханическому слиянию этнографии с элементами социально-экономических наук. <...> Но скоро специфические особенности этнографии выделили ее особо, и притом в обновленном виде — чисто социологической науки, правда, не самостоятельной, а вспомогательной. В основу этнографического изучения положены не отдельный человек и не культура, а человеческое общество. На многочисленном совещании этнографов Ленинграда и Москвы, состоявшемся 5–11 апреля 1929 г. в Ленинграде, вопрос о теоретических задачах этнографии послужил предметом длительных и горячих дебатов; но два основных тезиса не вызвали среди членов совещания никаких разногласий. Это: 1) методом этнографии должен быть метод диалектического материализма и 2) этнография — наука историческая, часть всемирной истории.

Основным понятием и объектом этнографии ленинградское совещание признало социально-экономические формации в их конкретных вариантах. Задача советских этнографов — историческое изучение конкретных во времени и пространстве человеческих обществ и отдельных культурных явлений, например жилища, костюма и т.д. Понятия “народ” (“этнос”) и “культура” — вторичные понятия. Понятие “культурного круга”, как и другие концепции культурно-исторической школы Гребнера — В. Шмидта — В. Копперса, совещание откинуло. Отрицательно отнеслось совещание и к попыткам построить этнологию как теоретическую науку в убеждении, что это противопоставит ее марксистской социологии. Лозунгом дальнейшей работы этнографов провозглашены переход от классиков к марксизму, от стихийного материализма к сознательному применению диалектического метода. На первый план выступают также чисто практические задачи этнографии, участие в социалистическом строительстве. <...>

Всероссийское археолого-этнографическое совещание, состоявшееся 7–11 мая 1932 г. в Ленинграде, подчеркнуло вспомогательный характер этнографии как не занимающей своего самостоятельного места в марксистской классификации наук. <...>

Каждая самостоятельная наука должна иметь своим предметом ту или иную форму движения; этнография не имеет такого специфического предмета: этнографические материалы отражают те процессы, которые происходят в человеческом обществе; это большей частью продукты деятельности общества на примитивных ступенях его развития. <...>

Для современной советской этнографии характерны, с одной стороны, социологический и исторический, с другой — практический подходы к изучаемым явлениям. <...>

Этнография не ограничивается изучением одних бытовых пережитков от примитивных эпох, но изучает также и полностью быт различных классов современного населения, не только деревенского, но и колхозного и частью городского — быт рабочих. Изучая жизнь общества комплексно, советская этнография тесно увязывает свои исследования с археологией, с одной стороны, и с лингвистикой, в частности с яфетидологией, — с другой. <...>

Сложный и трудный вопрос о применении к этнографическим исследованиям метода диалектического материализма вызвал большую литературу о задачах и методах этнографии... Критика старых и новых этнографических работ, разоблачение классово-буржуазной и феодальной сущности старых русских и современных западноевропейских этнографов отнимали очень много внимания и энергии у советских этнографов. В последние годы центр внимания переносится на изучение социально-экономических докапиталистических формаций в их конкретных вариантах, особенно родового строя, на этнографических материалах. Родовой быт, пережитки которого еще сохранились у многих народов Сибири и Средней Азии, — вот предмет очень многих советских научных работ, одинаково как этнографических, так и археологических, так и исторических в тесном смысле последнего слова» [СПФ АРАН. Ф. 849. Оп. 1. Ед. хр. 7. Л. 1–12].

Заключение

Если в чем-то этнографы, собравшиеся на совещании 1929 г., продемонстрировали почти полное единодушие, то это было представление о том, что их наука должна вступить в более тесную связь с советской национальной политикой и осуществлявшимся в стране социалистическим строительством. Намерения поставить этнографию «на службу СССР» высказывали не только «молодые марксисты», но и их учителя [Богораз 1928; Преображенский 1929а]. В этом они, конечно, не были оригинальны: этос служения государству, представления о совпадении интересов государства и общества и своей модернизаторской миссии были свойственны российским ученым и дореволюционной, и советской эпох [Hoffmann 2011: 29–34]. Преимуществом этой традиции видна в деятельности КИПС, созданной в самом начале 1917 г., еще при царском режиме [Hirsch 2005: 45–51]. Участие в картографировании, переписях и определении «племенного состава» населения страны было традиционной функцией «государственных этнографов». Наиболее известным органом, в рамках которого осуществлялась «прикладная этнография» в 1924–1935 гг., был знаменитый Комитет Севера, разрабатывавший разные аспекты модернизационного проекта на Севере — от организации родовых советов и очерчивания административных границ до разработки письменности и образовательных программ [Слезкин 2008]. Резолюция совещания 1929 г. по докладам Маторина и Толстова насчитывала 10 пунктов применения этнографических знаний в «советском

строительстве», охватывавших сферу законодательства, экономической политики, статистики, культуры и просвещения национальностей. На решение «прикладных» и актуальных задач социалистического строительства (изучение «пережитков родового и феодального строя», создание письменности, обеспечение перехода на оседлость кочевых народов, участие в антирелигиозной пропаганде и т.д.) ориентировал этнографов в своих последних программных выступлениях Маторин [Маторин 1934а, 1934б]. Теоретической основой марксистской этнографической литературы 1930-х годов стало учение о социально-экономических формациях, а главной задачей монографических описаний — вполне в соответствии с пожеланиями Аптекаря и «практическими» задачами коллективизации — анализ социально-экономических отношений «конкретных обществ» [Алупов 2014].

Связь теории и практики проявилась и в разработке проблематики, связанной с понятием «этнос». Как мы видели, это понятие было подвергнуто суровой критике за антиисторичность и «биологизаторство». Определенная ирония ситуации, однако, состояла в том, что одновременно с этим этнографы продолжали активно участвовать в осуществлении советской национальной политики, направленной на создание национальных территорий, органов власти, культурных институтов и т.д., — политики поощрения этнического партикуляризма, превратившего Советский Союз в «империю наций» или, по метафоре, использованной Ю. Слезкиным, «коммунальную квартиру», в которой каждому народу принадлежала своя «комната» [Slezkine 1994]. Проследивая зигзаги советской политики «коренизации», направленной на поддержку национальных меньшинств, Терри Мартин показал, что «Великий перелом» 1929–1932 гг. парадоксальным образом привел к усилению представлений о примордиальности этничности. Уже в 1929 г. Сталин стал опровергать представление о скором «отмирании» наций, а к середине 1930-х, по мнению Мартина, можно говорить о сложившемся «сталинском примордиализме», то есть такой политике, при которой усилия «были направлены на консолидацию их (советских народов. — С. А., Д. А.) национального самосознания, а глубинные исторические корни их этничности подчеркивались и прославлялись» [Мартин 2011: 613]. Этнографы также колебались между критикой этноса и поиска «корней» современных наций и новообретенной исторической логикой своей дисциплины, диктовавшей уже в решениях Археолого-этнографического совещания 1932 г. поставить на первое место среди «проблем, при изучении которых этнографические материалы могут сыграть особо важную роль», «процесс этногенезиса и расселения этнических и национальных групп» [Резолюция... 1932: 14].

Первоначально вдохновлявшаяся идеями об историчности этноса и смешанном происхождении всех народов, идея этногенеза также прошла в советской науке путь ко все большему вниманию к древним корням

и «патриотическим» толкованиям [Шнирельман 1993; Slezkine 1996]. Исследователи, как правило, подчеркивают такие факторы этой трансформации, как общий поворот идеологической политики середины 1930-х годов, восстановление преподавания истории, идеологическая борьба с германскими «арийскими» теориями и подготовка таких обобщающих трудов, как «Древняя история народов СССР». Наряду с историками и археологами этнографы также включились в этот процесс: к примеру, в 1938 г. Г. Н. Прокофьев сделал доклад на тему «Этногенез народностей Обь-Енисейского бассейна», а С. А. Токарев — «Происхождение якутской народности» [Абрамзон 1939б: 215]. Тогда же в Академии наук начала действовать специальная комиссия по проблемам этногенеза [Юсова 2007], в начале 1940-х годов прошли совещания по этногенезу народов Севера, Средней Азии и славян. Известно, однако, что уже в 1934 г. под руководством Маторина шла подготовка однотомного и многотомного вариантов справочника «Народы СССР» [Решетов 2003а: 31, 36]. В 1939 г. была опубликована «Программа подготовляемого Институтом этнографии сборника “Народы СССР”». Каждая статья в нем должна была состоять из трех основных разделов: 1) краткое введение с характеристикой численности, расселения и т.д.; 2) раздел, начинавшийся исторической справкой о «формировании (этногенезе) народа» и освещавший основные занятия, материальную и духовную культуру; 3) раздел, посвященный послереволюционным событиям, социалистической реконструкции и современному состоянию [Абрамзон 1939а: 210–212]. Нетрудно увидеть в этой схеме «костяк» содержания типовой монографии о том или ином народе, над которыми будут в дальнейшем трудиться советские этнографы.

Все вышеизложенное, а главное — публикуемая стенограмма, на наш взгляд, свидетельствуют о том, что эпоха рубежа 1920–1930-х годов отразила не только кризис, «нокдаун» или даже «смерть» этнологии, но и важные и содержательные дебаты, рождение новых идей и подходов. Далеко не всем из них удалось осуществиться. Эпоха «высокого сталинизма» была, разумеется, крайне сложным периодом для развития любой науки. Организационно этнография пострадала главным образом из-за прекращения вузовской подготовки специалистов, возобновленной в Москве и Ленинграде только в 1938 г. Помимо научно-исследовательских институтов (ИПИН–ИАЭ–ИЭ, ГАИМК), научная жизнь протекала главным образом в музеях (МАЭ, ГМЭ, Музей истории религии и атеизма в Ленинграде, Музей народов СССР, Центральный антирелигиозный музей в Москве), подвергавшихся постоянной реформации в связи с «зигзагами» национальной политики [Ипполитова 2001], но все же продолжавших осуществлять экспедиции и печатать исследования.

Главный урон был нанесен, конечно, репрессиями. Составляя комментарии к данной книге, мы были потрясены тем, какое количество биографий

участников совещания 1929 г. обрывается трагическими «репрессирован», «расстрелян» (общее количество репрессированных этнографов, по подсчетам А. М. Решетова, может достигать 500 человек [Решетов 1994: 186]). Профессия этнографа была поистине опасной в эти годы [Кап 2009: 400–407]. Большинство репрессированных участников совещания «проходили» по делам, связанным с террором против «местных националистов», то есть национальной интеллигенции, с которой этнографы в силу своей специальности были тесно связаны. Многие, впрочем, были арестованы и в связи с «Академическим делом» и «делом Центрального бюро краеведения» (в основном специалисты по русским и славянам) или как причастные к внутрипартийной оппозиции (главным образом активные сторонники марксизма, как Аптекарь и Маторин). В этой связи возникает особый стиль проведения полевых исследований, где поле становится укрытием. Многие исследователи просто стремились таким образом избежать преследований или расстрела «дома».

С точки зрения теории, совещание 1929 г. и последующие дискуссии, разумеется, принесли в этнографическую науку марксистскую парадигму, подкрепленную всеми идеологическими, цензурными и репрессивными ресурсами большевистского государства. Можно по-разному относиться к этой парадигме, но она, конечно, не исключала постановку различных теоретических и дискуссионных вопросов. На совещании 1929 г. мы видим, однако, некоторые точки консенсуса, которые определили дальнейшее относительное единодушие советских этнографов, а именно — консенсус относительно «историзации» дисциплины. Не вызывали возражений и уклон в сторону социологических вопросов, и недовольство чисто эмпирической «тряпкологией». Представления о марксистской этнографии (и о ее возможности) заметно отличались как у разных исследователей, так и у одних и тех же людей в ходе развития дискуссии. Такого рода отличия останутся и в дальнейшем, когда под «шапкой» «советской школы в этнографии» [Толстов 1947] в 1930–1940-е годы будут сосуществовать марксистские исследования социальной структуры, этногенетические штудии, марристские подходы к истории религии и «мышления» и чисто эмпирические исследования.

Советская школа этнографии считала себя самой прогрессивной в мире и стремилась оказывать влияние на мировую науку. В заключение мы хотели бы указать на «эхо» этих дискуссий и схожие процессы, имевшие место в мировой антропологии.

Постскрипtum

Как продемонстрировала Вера Тольц, российские востоковеды В. В. Бартольд, Н. Я. Марр, С. Ф. Ольденбург и другие во многом предвосхитили (и отчасти повлияли на критику и изучение) «ориентализм» в ра-

ботах Э. Саида и других представителей постколониальных исследований. Упомянутые ученые последовательно выступали против европоцентризма и колониализма, критиковали европейскую науку за связь с этими явлениями и даже считали, что само понятие «востоковедение» с его противопоставлением Запада и Востока и акцентом на изучении письменных источников, языков и религии устарело и должно уступить место изучению более актуальных социально-экономических реалий [Тольц 2013]. Антиимпериализм и поддержка национального самосознания меньшинств были для этих ученых не только следствием политической конъюнктуры 1920-х годов, хотя они, несомненно, не могли поддерживать «разгромные» выводы, сделанные на основании критики такими активистами культурной революции, как Аптекарь. Все эти темы из советских дебатов рубежа 1920–1930-х годов имели продолжение и развитие в истории антропологии как на Западе, так и на Востоке.

Наиболее очевидным образом советский опыт повлиял на непростую судьбу антропологических наук в коммунистическом Китае. Китайские ученые 1950-х годов были прекрасно осведомлены об атаках на этнологию/антропологию через переводы соответствующих статей из советских источников и рассказы огромного числа эмигрантов, которые поддерживали связь через переписку. По словам историка китайской антропологии, «советские дебаты об этнографии вновь разыгрывались на китайской сцене четверть века спустя» [Guldin 1994: 119]. Обучение у «старшего брата» включало перевод учебников (прежде всего «Очерки первобытной культуры» М. О. Косвена, «Введение в общую этнографию» Левина, Толстова и Чебоксарова), экспорт научной литературы и визиты советских экспертов, наиболее влиятельным среди которых был Н. Н. Чебоксаров. На протяжении 1950–1960-х годов китайские ученые публиковали статьи с критикой западной антропологии как оружия империализма и колониализма. Имела место и резкая критика ханьского шовинизма в работах дореволюционных китайских антропологов, многие из которых были последователями функционализма или школы Ф. Боаса. В результате культурная антропология со всеми западными теориями была объявлена буржуазной псевдонаукой, и соответствующие кафедры в университетах были закрыты.

Этого, однако, не произошло с этнологией. В 1952 г. в созданной по советскому образцу Академии наук возник Центральный институт национальностей, объединивший лучших специалистов по этническим группам страны. Вооруженные историческим материализмом и сталинским определением нации, этнографы начали широкую кампанию по «идентификации», классификации и изучению национальных меньшинств. Таким образом, ученые активно включились в формирование этнической политики нового государства. Другие государственные проекты, над которыми работали китайские этнографы, также имели явные параллели в советской

практике. Первый из них был направлен на изучение языков этнических меньшинств и создание письменности для официально признанных таковыми. Вторым назывался «Исследование социальной истории национальных меньшинств» и задействовал около тысячи полевых работников. Как и в Советском Союзе, изучение социальных отношений проводилось в ходе социалистической реконструкции. Основной его целью было определение уровня социального развития исследуемых групп в терминах социально-экономических формаций, с тем чтобы эти данные определяли ход земельной и других реформ. «Великий скачок вперед» конца 1950-х годов значительно повлиял как на ход проведения этих исследований, так и на обострившуюся политику идеологических проработок в академии. Одновременно популистские лозунги «культурной революции» сказались на методике полевых работ. Лозунг «Есть вместе, жить вместе, работать вместе» означал соответствующее погружение исследователей в повседневность изучаемой группы. Политически неблагонадежные ученые посылались в деревню на «перековку» физическим трудом. Один из них впоследствии вспоминал, что узнал о жизни народа за время полного «включения» в их жизнь гораздо больше, чем задавая вопросы в ходе полевых исследований [Guldin 1994: 161–164].

Американский историк китайской антропологии Грегори Галдин заметил, что статья 1960-х годов китайского этнографа Лянг Жаотао «предвосхищает многое из современной западной критики антропологической теории и практики в дискуссии об антропологии и “Другом”» [Ibid.: 189]. Данная критика стала более или менее заметным явлением во второй половине 1960-х годов. Этому способствовали такие факторы, как деколонизация и становление новых национальных государств, затруднявших доступ антропологов к «полю» на своей территории, внутренние конфликты в западной науке, связанные с участием антропологов в операциях американских спецслужб в Латинской Америке и Вьетнаме, а также публикация «скандального» дневника Б. Малиновского [Stocking 1991: 3–8; Geertz 1967]. Не отрицая интеллектуальные основания антропологии в проекте Просвещения, исследователи, придерживавшиеся левых взглядов, писали, что антропология является «порождением западного империализма», так как в качестве научной дисциплины она стала возможной лишь благодаря колониальному господству Запада над остальным миром [Gough 1968]. Главной причиной «кризиса антропологии», о котором в 1960–1970-е годы говорили многие, стали растущие отчуждение и враждебность по отношению к антропологам со стороны обретающих независимость и собственные государственные идеологии «объектов» западного изучения и колонизации (пиком стала книга маорийского активиста Линды Смит «Деколонизуя методологии» [Smith 1999], предлагавшей полный пересмотр терминологического и методологического арсенала антропологии). Таким образом,

эта ситуация имеет определенные параллели с той, в которой оказалась советская этнография 1920–1930-х годов, когда на смену Российской империи пришла большевистская «империя положительного действия», провозгласившая антиколониализм, борьбу с «великорусским шовинизмом» и поддержку национальных меньшинств в ряду своих основных принципов. «Положительная дискриминация» звучала и из уст В. Г. Богораза, предлагавшего в том числе и создание «заказных территорий» как аналога североамериканских резерваций [Об изучении... 1923; Михайлова 2004]. Особенность советского колониального проекта заключалась в том, что с первых лет в сами дискуссии и написание текстов стали включаться «объекты исследования» — коренные народы окраин. Вспомним приведенные выше выступления юкагира Тэки Одулока (Спиридонова), удмурта Кузубая Герда или написание статьи об алеутах для тома «Народы Сибири» алеутом В. П. Хабаровым.

Тема «наука и колониализм», появившаяся в СССР и на Западе в структурно сходной ситуации, разрабатывалась с разной глубиной и добросовестностью. Работы вроде «Этнографии на службе классового врага», появившиеся в атмосфере репрессий начала 1930-х годов, представляли собой морально и научно некорректное выискивание в работах «буржуазных» ученых цитат, свидетельствовавших об их шовинистических и империалистических взглядах и «порочащих связях» с царским правительством, миссионерами и т.д. Позднее появлялись несравненно более серьезные работы, анализировавшие различные колониальные контексты деятельности ученых на широком историческом материале [Asad 1973; Stocking 1991; Wolfe 1999]. Кризис антропологии на Западе не привел, разумеется, к закрытиям кафедр и репрессиям. Тем не менее можно указать на такое сходство с процессами в СССР, как появление критики центральных концептов антропологической науки, в частности эссенциализации «культуры» и культурного детерминизма. Одна из сторонниц концепции кризиса Диана Льюис писала: «Антропологи разработали концепцию культуры, аналитическое и теоретическое использование которой в опасной степени отражает точку зрения колониального расизма. Как антрополог, так и колонизатор находят в культурной уникальности определенного народа оправдание сохранения нынешнего положения вещей. Важность понятия культуры может помочь понять, почему антропологи столь некритично воспринимали колониальную систему, внутри которой действовали» [Lewis 1973: 585]. Несмотря на кризис 1960-х, «западная» антропология обладала, возможно, главным ресурсом — методом «включенного наблюдения», который от детальной дескрипции, скажем, терминов родства был повернут в сторону не менее детального изучения практик. По другую сторону от «железного занавеса» этот метод, как мы могли видеть даже на примере одного совещания, не «прижился», не совпав со стремлением

этнографов описать историю той или иной группы, ее материальную культуру, но не задаваться вопросом о функционировании этих «элементов». Можно даже заключить, что советская этнография до известной степени оставалась статичной, описывающей мир через ряд имманентных категорий (пища, жилище, «народные знания» и т.п.).

В то же время с 1960-х годов во многом благодаря интересу к колониализму начинается сближение антропологии и истории в работах таких американских неомарксистов, как Эрик Вульф, Стэнли Минц и др. Стремление антропологов исследовать историю «народов без истории» в определенной степени можно сравнить с советскими проектами этногенетических штудий и написания истории народов СССР в противовес «шовинистической» истории России. Советская этногенетическая история, однако, была зажата в рамках стандартной модели описания, в которую лишь изредка проникали «голоса из поля». Примерно в то же время в Северной Америке формировалась концепция этноистории (*ethnohistory*), в основе которой лежала совершенно иная идея интеграция устной истории в историю академическую (впервые на соотношение этногенеза и *ethnohistory* обратил внимание: [Anderson 2007]).

Наконец, и в Советском Союзе 1920–1930-х годов, и на Западе антиколониальная критика привела к пересмотру отношений этнографа и информантов. Д. Льюис, как и многие другие антропологи, предлагала своего рода замену высокомерно-«объективного» антрополога «извне» на местного исследователя, вовлеченного и отстаивающего интересы изучаемой группы. То же предлагал ученик Богораза Е. Крейнович, писавший: «Мы хотим стереть эту грань между субъектом и объектом, между нами и ними. <...> Объекты исследования должны стать субъектами» (цит. по: [Grant 1995: 77]). Одной из попыток в этом направлении стало основание Северного факультета Педагогического института им. А. И. Герцена, а также многие другие акции в рамках программы «коренизации». Однако голос «информанта» в дальнейшем, как правило, звучал только в рамках стандартизированного языка этнографического описания. Слияние, о котором говорил Е. А. Крейнович (и к которому призывал Богораз), если и происходило, то сводилось к освоению и использованию — продолжающемуся и по сей день — «объектами» этнографии правил академического дискурса. «Государственный» подход, безусловно, возобладал в советской этнографии, и тогдашние эксперты, конечно, крайне далеки от постмодернистских представлений о соотношении ролей исследователя и его/ее «собеседников». В данной книге, однако, мы имеем возможность прикоснуться к тому короткому периоду в истории отечественной этнографии, когда многое казалось возможным и самые смелые эксперименты представлялись осуществимыми.

Итак, 5 апреля 1929 г., Ленинград, утро, здание Государственной академии истории материальной культуры...